

ВРЕМЯ ШУЛАМИТ 13 1977

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕНЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЮ -
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ



А. Синяевский (Абрам Терц)
"Я" и "они"

Цви Луз Шуламит

ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 13 январь 1977

Выходит один раз в месяц:

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Борис Ямпольский

"Большая эпоха" 3

Цви Луз

"Шуламит" 96

ПОЭЗИЯ

Стихи современных поэтов

"Лирическая мозаика" 122

ПОЛИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ

Михаил Ледер

"Афера, или дело, которое

тянется 22 года" 128

А. Синявский (Абрам Терц)

"Я" и "они" 168

ИСКУССТВО

"Аполлон-77" 184

ИЗ ПРОШЛОГО

Юлий Марголин

"Сентябрь, 1939" 193

Коротко об авторах 222

DIGEST OF THIRTEENTH ISSUE OF

"VREMIA I MY" ("TIME AND WE"). 223

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Фаина Баазова

Георгий Бен

Лия Владимирова

Егошуа А. Гильбоа

Илья Гольденфельд

Михаил Калик

Михаил Ледер

Борис Орлов (зам. гл. редактора)

Наталья Рубинштейн

Дмитрий Сегал

Йосеф Текоа

Аарон Ярив

Представитель журнала в США Эдуард Штейн

7 Miles Ave, Woodbridge.

Conn. 06525 t. (203) 387-05-97.

Представитель журнала во Франции Галина Келлерман

64, Rue de la Condamine

Paris- 17, FRANCE



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, январь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

ПРОЗА



"Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...".
Из песни вагонного нищего.

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ

БОЛЬШАЯ ЭПОХА

ПРОЛОГ

Почти всю сознательную жизнь, с тех пор как он себя помнит, преследовала его какая-то тайна, какая-то неизвестная, неузнанная вина, упрятанная где-то в серой именной его папке, которую он в жизни не видел и, наверное, никогда и не увидит.

Что это было: донос товарища на странице из ученической тетради, рапорт на официальном бланке или телеграмма с красным ведомственным штампом. Или, может, так только казалось, что вина одна, а на самом деле она непрерывно обновлялась и, высохшая, изжившая себя и ставшая уже смешной, тут же заменялась новой.

Неузнанная и скрытая, вина эта незримыми путями с фельдъегерской скоростью следовала за ним из города в город, и каждый раз, когда только возникала его фамилия — шла ли речь о новой работе, о воинском звании, о награде?

о льготе, о пропуске или заграничном паспорте, — тотчас же включалась тревожная морззянка.

И вина эта, неузнанная и небывшая, как собственная тень, все следовала за ним, и, не старея, перешла из юности в зрелые годы, в пожилые годы, и, наверное, сопроводит его в старость, наверное, в парадном мундире пойдет за его гробом в толпе, в зимней толпе, среди темных пальто и цигейковых шапок, и остановится у края могилы, и не успокоится, пока не услышит стук о крышку гроба замерзших комьев земли. Лишь тогда, вздохнув, уйдет и заснет она в своей дьявольски серой бронированной папке "Хранить вечно", с фотографией, на которой изображен ее хозяин, юный, веселый, полный молодой веры и мечты.

АРБАТ

Теперь, когда прорубили широкий, уходящий в небо проспект Калинина, Арбат остался забытой где-то в стороне тихой узкой улочкой, которую пешеходы, словно это в Жлобине или Кобеляках, перебегают где хотят, а когда-то это была очень строгая улица, по которой, говорят, Сталин ездил на ближнюю дачу.

Старый Арбат, с Молчановкой, Собачьей площадкой, с Сивцевым Вражком и с церковью Бориса и Глеба, со всеми своими особняками, почерневшими бараками первых пятилеток, со своими старушками в салопках и шляпках, с детьми-пионерами в красных галстуках, — Старый Арбат жил невидимой глазу, скрытой, режимной жизнью, где каждый дом, каждый подъезд, каждое окно заинвентаризовано, за всеми следят, всех курируют.

Начиная от знаменитой "Праги", которая давным-давно была уже не "Прагой", а набита конторами и конторочками, с глухим заколоченным парадным подъездом и пустынной плоской крышей, где еще долго после войны валялись гильзы зенитной батареи, и родилось, и выросло поколение, которое и не знало, что тут был прославленный ресторан "Прага", — так вот, начиная от "Праги" до "Гастронома" на Смоленской,

улица как бы имела второе лицо. Веселый магазин шляп в "Праге", на углу, "Детский мир" с пузатыми разноцветными матрешками, и зоомагазин с оранжевыми рыбками в аквариумах и запахом помета и пуха птичьих мучений, и антикварный с золотыми вазами с изображениями египетских фараонов и римских легионеров, и восстановленный после бомбежки театр Вахтангова с афишей "Два веронца", и кино "Юный зритель" с рекламой кинокартины "Клятва". А поверх этого как бы наложенный на улицу теневой силуэт, как блуждающая маска, вдоль всей улицы, — строгая, загадочная и молчаливая цепочка: зимой в бобрике и ботах, а летом в апашках и дырчатых сандалетах. В метель, и в дождь, и в туман, и когда цветет сирень и цветет жасмин, и в листопад, на рассвете, когда выходят первые троллейбусы, и в часы пик, и в час театрального разъезда, и в час инкассаторов, и в новогоднюю ночь, и в пасхальную ночь, и в первомайскую ночь, вчера, и сегодня, и завтра — всегда молчаливая цепочка на Арбате.

Они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переулков или у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую часть. Они стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто вспоминали что-то забытое. Но вдруг их охватывала лихорадка. Красный свет зажегся одновременно на всех углах, и ревели в больших металлических коробках милицейские телефоны, цепочка выходила на кромку тротуара, и будто посреди улицы открывался оголенный провод, и весь Арбат, со всеми его витринами, манекенами, завитыми головками, будильниками, муляжами, золотыми рыбками и канарейками в клетках, стоял под высоковольтным напряжением.

ТАБОР

Это была одна из тех барских квартир, каких много в старых арбатских особняках, квартира, которая занимала целый этаж, с большими венецианскими окнами, двумя входами — парадным с широкой беломраморной лестницей, на которой

некогда лежал ковер, а теперь ступени давно потемнели, были сбиты, заплеваны, обшарпаны, — и черным кухонным, с узкой железной лестницей, на которой пахнет не только помоями, ворами, но бегают крысы.

Все было как везде: грохочущая и замызганная холуйская черная лестница, и облепленные до дранки стены, и пыльная, несчастная, голая экономичная лампочка с багрово-потухающей нитью накала, и двери, изрезанные любовными и нахальными надписями, и цементный кухонный пол, и в саже кухонный потолок, так что расписанные на нем амурсы и вельможи казались грешниками в аду; ванная, в которой хранились капуста и картофель, а потом стояла постель молодого начинающего и обещающего быть гениальным художника, и карболочный вокзальный туалет, к которому в зимние темные утра, когда все просыпаются поздно и все спешат на работу, выстраивалась очередь, и скандалы, и интриги, и с некоторых пор комиссия содействия домоуправлению стала с вечера раздавать порядковые номерки.

Давным-давно, пожалуй, с тех пор, как хозяин особняка, чайный фабрикант, сбежал от революции в Париж, ни маляры, ни плотники, ни кровельщики не касались стен дома, и давно отпала гипсовая лепка, и фигуры ампира стояли в розовой тифозной сыпи, а кое-где провалились потолки, открыв деревянные балки. Если приходили гости и танцевали, дом содрогался и хозяева умоляли: "Тише, а то сейчас снизу прибегут инсультники". А в дождь население выносило на чердак ведра, тазы и кастрюли, в комнатах и коридорах был потоп, а на водосточной трубе вырастали шампиньоны.

Только под 1 Мая приходили маляры с длинными кистями и, вися в подвешенных к крыше люльках, распевая песни, красили фасад в старый, барский фисташковый цвет, правда, не в чистый благородный фисташковый XVIII века, а в несколько грубый, несколько нахально-яркий, аляповатый, но все-таки не суриком, не охрой, не камуфляжного цвета воздушной тревоги. Дождь скоро смывал эти румяна, и дом стоял, как пожилая красуля, вдруг вздумавшая румянить щеки, и слезы текли грязными старческими подтеками. Но приходил новый первомая или вдруг приезжал знамени-

тый и небывалый иностранный гость, и снова под окнами распевал маляр. Потом приезжала машина, и монтер менял разбитые в зимнюю стужу молочные шары, выворачивал погасшие, перегоревшие лампочки, и ночью снова ярко светил фонарь, и казалось, наступает новая жизнь.

Но ничего не меняется. И все так же шумит, скандалит, женится и разводится, рождает и умирает разноязычный табор коммунальной квартиры.

На высоких массивных старорежимных дубовых дверях, где некогда была одна жарко начищенная медная табличка, теперь многочисленные звонки и кнопки, с детально выписанными указаниями и вычислениями длинных и коротких звонков.

Откроете дверь, изнутри висят на веревочках картонные визитные карточки — "Черномордиков дома", "Цулукидзе дома", "Свиздян — на службе", "Лейбзон в командировке".

А потом широкий, темный, пропахший нафталином, свечными огарками, мышинным пометом коридор, весь заставленный старыми рассыпающимися шкафами с ненужными книгами, с окованными железными полосами сундуками, о которые вы всегда обиваете себе колени, с какими-то тюками и корзинами, набитыми всякой ветошью и дребеденью, а может быть даже камнями, лишь бы там что-то стояло, лишь бы мешало людям жить. Тут же цинковые корыта, похожие на детские гробы, громадные оранжевые и голубые бутылки, в которых черт-те что хранится. Сверкнет старый горбатый самовар, дамский велосипед, из колеса которого обязательно торчат острые спицы, засохший фикус, и стоит даже Бог весть откуда взявшееся чучело медведя, давно изъеденное молью, который по-отцовски коснется вас, и вы вздрогнете от неожиданности, словно именно вас он и дожидался в этом коммунальном лесу.

В общем, сюда выставлено все, что не нужно никому, но только тронь или чуточку передвинь с места... А бывает еще посередине висит на протянутой веревке белье, которое бьет вас мокрыми штрипками по лицу.

В коридор выходили высокие и широкие двери с дубовым узором, и на вешалках висели старые, еще гражданской

войны шинели, бекешы, еще старорежимные салопы, шушуны, и, казалось, у стены, прижавшись, стоят и ждут своего часа краскомы, чекисты, старухи бабы-яги.

За дверями орало радио, или играл патефон, или плакали, или пели, или били посуду, или царствовала такая тишина, что становилось страшно, и пахло то жареной воблой, то столярным клеем, то лекарствами, то сивухой, то гримом или ужасной, необратимой пустотой.

Совместная жизнь настраивала всех на одну волну. Иногда в квартире стояла мертвая тишина, но стоило только кому-то закричать, как во всех комнатах начинался шум, все вспоминали обиды, оскорбления, боль...

Как во всякой большой, крикливой и суматошной московской коммунальной квартире, которая, впрочем, ничем не отличалась от такой же ленинградской, или киевской, или одесской квартиры — разве только тут было еще теснее, населеннее и резче был запах чада, стирки, сортира, потому что, переделанные из бывших контор, магазинов, тюрем, они были менее приспособлены к человеческой жизни, — как и во всякой коммунальной квартире, тут жил самый разнообразный, смешанный, пестрый, никак не понимающий и не сочувствующий друг другу люд.

Не они выбирали тут местожительство, никто специально их и не поселял, а поселились они хаосом, неразберихой бурного времени революции и гражданской войны, загнанные сюда разрухой, пожарами, экспроприациями, грабежами, мобилизациями, и, поселившись, крепко привязавшись к чужому месту, голодовали, бедовали и плодились, как кролики.

Кое-кто жил здесь давным-давно, еще с тех времен, когда и ордеров не было, а только классовое право, классовое чутье. Уже и не было того, кто вошел сюда по закону реквизиции и уплотнения, а жили и расплодились его потомки, выписали родственников из деревни и маленьких местечек. Но были и такие, которые не имели никакого отношения к тому, кто некогда вошел сюда по классовому закону и

занял подобающую жилплощадь господствующего класса, а такие, что фальшиво женились и прописались, а потом даже не разводились, а просто спровадили милую невесту или дождались смерти старух, изо всех сил помогая этой смерти. Но были и такие, которым и фиктивный брак не понадобился. Они прописались неизвестно как и почему и на каком основании, но в домовую книгу появились их фамилии и были поставлены все печати, наклеены все нужные гербовые марки. Все у них было в порядке, в ажуре. Но были и такие, которые и прописаны не были, просто жили, просто втерлись и жили годами.

Нет, не играли они никогда теплой компанией в лото или в трик-трак, не составляли совместной пульки, не собирались на посиделки полузгать семечки и никогда не ходили друг к другу в гости на варенье, соленье, на маринованные грибы или семейную наливку. Если даже была свадьба, или именины, или просто вечеринка, приходили с другого конца города, но из соседней комнаты, из-за фанерной перегородки не заглядывали, а если слишком шумели, то из-за этой перегородки стучали щеткой в стенку, так что сыпалась штукатурка и отклеивались обои, а бывало, и выходили в коридор, и делали последнее предупреждение или просто без предупреждения приводили участкового.

Да, жили тут разные люди, и разно они стоили. И как во всяком сообществе людей, были и свои сумасшедшие, и свои верховоды.

Вот роль верховода играл тут Свизляк, тучный, зубастый мужчина, с кирпичным лицом, сивым жестким ежиком Керенского, развязными ногами кавалериста, хотя он ни разу не сидел в седле, а всю жизнь провел, обнимая мощными мускулистыми ляжками канцелярский стул в министерстве.

СВИЗЛЯК

Создатель не поспешил на него. Судя по количеству костей, по огромному черепу, природа, видимо, задумала сначала что-то более громоздкое, носорога или верблюда,

но в последний момент что-то случилось или, может, обнаружилась нехватка лимитированных хрящей, и вот она слепила и выпустила на свет Свизляка, оставив только носорожий заряд амбиции, и пошел он гулять со своим дыханием и запросами, а тут еще попал в клетку коммунальной квартиры, и низки были все притолоки, и когда он входил, то сгибал голову, и все вокруг ему казалось крохотным и ничтожным и хотелось разнести в щепы.

В каком он служил министерстве и что он там делал, чем занимался те десять часов, которые отсутствовал дома, никто не знал, а он почему-то тщательно скрывал и ни разу не проговорился, считая это государственной тайной, и, когда его об этом спросят, он только скосит глаз и взглянет подозрительно, словно ему задали вопрос о дислокации, в лучшем случае усмехнется и скажет:

— Где партия и правительство поставили, там и работаю.

Хотя точно было известно, что в партии он не состоит и никогда не состоял, однако заявления писал чаще, чем кто-либо из членов партии, и сослуживцам его, очевидно, жилось несладко, судя по тому, что он рассказывал жене за ужином, как "поставил на место товарища Каплана", и что он "еще доберется до товарища Щепкина", и "проверит классовое происхождение Брокгауза": а не родственник ли он Брокгаузу и Ефрону, которые выпустили небезызвестную энциклопедию?

В годы НЭПа, говорят, он в каком-то небольшом губернском городе открыл свою собственную мастерскую по починке несгораемых шкафов, имел золотишко, и жемчуга-бриллианты, и иностранную валюту. Но в первые же годы реконструкции и социалистического наступления быстро перестроился, исчез из губернии в Москву, нашел угол и очень быстро и ловко вытурил из всех других углов законную их владелицу, стал носить бриджи, и толстовку, и брезентовый портфель инспектора и даже чуть ли не вступил в партию, но в это время началась чистка, прием приостановился, и он одумался рисковать. А когда чистка кончилась, он уже не подавал заявления, а решил остаться навсегда беспартийным большевиком и, не неся бремя ответственности и членских взносов

помогал партии разоблачать врагов народа, двурушников, подкулачников, идеологических диверсантов, оперативно откликаясь на все текущие призывы и кампании, на все субботники и воскресники, и хотя сам не любил работать, но следил, чтобы никто не отлынивал, не жил в отрыве от общественной, текущей жизни, скрываясь в одиноличной скорлупе, в башне из слоновой кости, хотя свою ячейку, свои соты строил крепко, надежно, индивидуально, не надеясь на помощь и победу коллектива.

Едва только он в своей мокрой собачьей куртке и высоких охотничьих, пахнущих дегтем сапогах, с огромным старым разбухшим портфелем являлся домой, тотчас же, не успевал он снять куртку, и кинуть портфель, и крикнуть дочери: "Ляля, не распляй время!", — начинал пилить, строгать, стучать.

Свизляк обожал чуланчики, каморки, сарайчики. Где только есть свободный, а то и не свободный угол, тотчас же устроит загородку и забьет всякой ветошью. Подвал и чердак он давно освоил и разгородил, напихал старыми стульями с разодранными соломенными сиденьями, старыми матрацами с выскочившими пружинами, старыми желтыми корзинами и газетами, повесил всюду здоровые амбарные замки, и кто ходил в подвал или на чердак вешать белье, вечно разбивал лоб об эти ржавые, злые замки.

На время войны Свизляк уезжал в эвакуацию, ибо как раз в этот момент жизни у него обнаружили каверны в легких. Это было видно на рентгеновских снимках, он носил эти снимки с собой и всем показывал как свою фотографию, и в квартире, и у себя в учреждении, и даже в других учреждениях, куда он обращался по своим делам и заботам. Может быть, так оно и было, но я в это не верил. Когда он орудовал топором и лопатой, когда он взбегал по лестнице одним махом, когда утрами отфыркивался у раковины, когда сидел за столом и, раздирая руками гуся, ужинал, в нем не чувствовался смертельно больной.

Но, во всяком случае, 16 октября он срочно отбыл в эвакуацию и не забыл предварительно закрыть все свои курятники на амбарные замки. Конечно, в холодные годы войны их

разбили и растаскали на топливо, и, когда Свизляк прибыл из эвакуации в защитной сталинке — в габардиновой гимнастерке и синих диагоналевых галифе, — краснолицый, загорелый на Иссык-Кульском солнце, с тюками урюка, он тем же голосом, тем же манером, каким в начале войны говорил: "это вам не мирное время", стал теперь говорить: "это вам не военное время". И делал все, что хотел и что ему было выгодно.

Ему пришлось начать все сначала, и все вечера он строгал и стучал, снова сбивая свои чуланчики. Однажды ночью он отрубил даже кусок от кухни, и когда утром все проснулись и явились на кухню с кастрюлями и сковородками, то увидели закрытую на большой висячий замок новую каморку. Потом та же участь постигла и общий коридор, и тут он ухитрился отрезать кусок, и устроить ловушку-загородку, и повесить замок. И когда уже решительно нечего было больше отгораживать, он буквально полез на стену и отрубил кусок коридорчика уже не по вертикали, а по горизонтали, и устроил висячий антресольчик, и запихал туда какие-то кошелки, какие-то старые полшубки и изгрызенные мышами книги, всякие "Спутники агитатора" и брошюры по НОТУ 20-х годов.

В маленьком этом темном коридорчике, у самой моей двери, на гвозде висела пышная длинноволосая собачья куртка, принявшая его могучий облик. От нее пахло сыростью и псиной, и когда он сам выходил из комнаты, то так же пахло и от него, от его подтяжек, подмышек, от его улыбки и взгляда.

С ним жила жена, крохотная, замученная женщина с несчастным засушенным личиком, которой он все время твердил: "Не ходи на цыпочках, ходи на всю ступню, это раздражает".

День и ночь ему хотелось все разнести в клочья, все его раздражало, и так как эту энергию нельзя было всю вложить в заколачивание гвоздей, то она пошла по другому направлению и стала выливаться с кончика пера. И это дело, деликатное и на первый непривычный взгляд даже легкое, чепуховое, веселое, оказалось работой тяжелей грузчика — тут уже надо

было иметь сердце даже не носорога, а экскаватора. В конце концов это надорвало его, но уже позже, гораздо позже, а до этого нужно было случиться катаклизму, по сравнению с которым извержение Везувия, землетрясение на Японских островах, средневековая чума и штуки Ирода были просто куриным пометом.

Никто не знал, какой он силой обладает и до чего может дойти, но все почему-то были уверены, что он все может сделать, и не испытывали судьбу, и не доводили до кипения, и сдавались угрозе. И он с каждой кухонной, коридорной победой становился все нахальнее и требовательнее, и, когда на лестнице раздавались его тяжелые и звонкие шаги, его шумное дыхание, будто дышала сама собачья куртка, на кухне становилось тихо.

Соседкой его была тихонькая, робкая старая дева Любочка, которая жила в своей комнатке-гнездышке, среди пышных плюшевых кресел, как мышь в норе, и которой не касались штормы и электромагнитные волны современной жизни и собраний, и которая до обморока боялась его взгляда и дыхания и от звука его голоса едва не теряла сознание.

В комнатке ее жил еще и еж, а у окна стоял большой, похожий на подводный грот аквариум с золотыми рыбками.

Это нам кажутся все рыбки одинаковыми. А для нее каждая была личностью со своим характером, со своим нравом, были рыбки кроткие, ленивые, были шалуны и капризули, были всеядные и рыбки-гастрономы. И каждую она нарекла, как человека, именем.

Длинная, стремительная вертихвостка была Василий. Толстая сонливая рыбка была Тарас. Маленькая, юркая, хищная, на лету хватающая корм была Валентин.

Каждый день ранним, ранним утром, когда квартира еще спала, и вечером после работы она кормила свою золотую гвардию, и из-за двери слышалось: "Василий... Василий... Ап!... Тарас... Тарас... Тарас... не зевай! Валентин... Валентин, брось свои хулиганские трюки!..."

И Свизляк все это учел.

Однажды зимним вечером, во время кормления, Любочка зачем-то внезапно открыла дверь в кухню, и от дверей,

грохоча сапогами, отскочил пузан в габардиновой гимнастерке с широким военным ремнем.

— Вы, конечно, извините, — сказал управдом, — но поступили сигналы. У меня режимная улица, а у вас без прописки живут каких-то два Василия, один Тарас и один Валентин.

На что уж Голубев-Монаткин — политически самоуверенный подпольный товарищ, незапятнанным прошедший через все дискуссии и чистки и лишь по какому-то дикому, конъюнктурному недоразумению вышедший в тираж, понимавший своим исконно природным чутьем, что Свизляк кулак и примазавшийся, колеблющийся элемент, который бы служил и лизал также и при Керенском, и батьке Махно, при английской королеве Елизавете или японском микадо Хирохито, если бы они могли дорваться до власти в России, — так вот даже он старался не связываться со Свизляком, не то что боялся или трусил, а просто сторонился и с высоты своего подпольного прошлого как бы не замечал его нахального существования. Стоя вполборота и слушая вполуха, выпятив вперед губы с миной: "Все это болтовня, глупости, политическое недомыслие", Голубев-Монаткин корректно плевал в его сторону, и растирал ногой, и уходил в свое глубокое, классово-партийное понимание событий и очередных задач.

ГОЛУБЕВ-МОНАТКИН

Крепенький, жилистый, чудовищно носатый старичок, все лицо — и щеки, и лоб, и даже, казалось, уши — ушло в толстый, хрящеватый нос. Можно было подумать, что давно, в самом раннем детстве, кто-то решительно взял его мягкое младенческое лицо в жменю и с досадой сжал. Но, присмотревшись поближе, можно было увидеть, что это только поверхностное представление, что все именно так было задумано природой, и все черты лица по плану стремились, симметрично стягивались к носу, как к своему средоточию, своему высшему самовыражению, чтобы составить это надменное, самолюбивое, ничего, кроме своего носа, не признающее лицо, лицо — нос, лицо — апломб.

Всегда у него был такой вид, будто он знал что-то такое, чего никто, во всяком случае в этой квартире, среди этого жадного, мелочного, погрязшего в разврате мещанства, кухонного сброда, не знает и не может знать.

И хотя он уже давно был не у дел, не входил в кабинет, отделенный от мира темным тамбуром и двойной, обшитой дерматином дверью, по ковру к служебному столу, к которому приставлен другой длинный стол для заседаний, давно уже не ф о р м у л р о в а л, не давал указаний, не подымал на кампании, на идеологическую борьбу — это выражение превосходства, всезнания, как припаянное, никак не хотело сходить с его лица.

Голубев-Монаткин и сейчас щепетильно следил за текущей политикой, за всеми передвижениями вверх и вниз, и получал по подписке не только "Правду", но и "Советское искусство", и "Культуру и жизнь", ибо очень интересовался литературой и искусством, и не так новыми шедеврами, как новыми решениями; кто и как провинился, и ошибся, и получил по башке, с кого снимают стружку, а кто, наоборот, в фаворе и что сказал писатель А. Фадеев или художник А. Герасимов.

Ту же "Культуру и жизнь" приносил с собой и Свизляк, который как раз в те дни тоже очень интересовался литературой и искусством, и как бы они ни были отчуждены и даже враждебны друг другу, но, увидев в руках у Свизляка эту щуплую, на тонкой бумаге газету, Голубев-Монаткин одобрительно хмыкал и иногда, а особенно в разгар космополитизма, до того снисходил, что даже подмигивал Свизляку: "Ознакомились?", на что Свизляк, ненавидящий Голубева-Монаткина за то, что этот гранит не поддавался его зубам, тоже откровенно подмигивал одним глазом: "Дают!"

Но вообще ни с кем в квартире Голубев-Монаткин не разговаривает и даже не здоровается. Рано утром, выпив несколько стаканов кофе с цикорием, который очень любит, он надевает свою старую зеленоватую бекешу с барашковым бортом и белую папаху и, ни на кого не глядя, уходит из дому неизвестно куда. Некоторые сообщали, что видели его в сквере дремавшим, с газеткой на коленях, другие

говорили, что, наоборот, он непрерывно ходит-бродит, считая это цементом здоровья, третьи — будто видели его в библиотеке, где он что-то выписывал из старых желтых газет, а некоторые уверяли, что он уходит в Сандуновские бани и проводит там полдня на полке, а в перерывах играет в шашки и пьет морс.

Во всяком случае, нет его до обеда, а ровно в два придет и опять, ни на кого не глядя, вымоет над кухонной раковиной руки и сядет за стол, постукивая ножом, сообщая этим, что ждет обеда. А когда подавали суп, захватив тарелку лапою, урчал. Отобедав двумя блюдами с закуской и компотом, с той же газеткой ляжет на кушетку, укроет лицо от мух и захрапит так, что не слышно телефонного звонка.

— Мне надоело слушать твой свинячий храп, хоть бы ты содох, — говорит ему супруга, толстая, рыхлая сырая женщина, боевая подруга жизни.

— Как у тебя глотка не лопнет, — отвечает Голубев-Монаткин.

Зато ночью он почему-то не храпит, спит тихо, а может, и совсем не спит.

В 1920 году в Баку, в подвале ЧК, Голубев-Монаткин расстрелял восемнадцатилетнюю девушку. Она стояла у стены, и, когда он поднял наган, она разодрала на груди платье и крикнула: "На, стреляй, гад!.." И вот уже тридцать лет является она по ночам и глядит ему прямо в глаза: "На, стреляй, гад!.."

Но, несмотря на это, Голубев-Монаткин никак и ни за что не мог и не хотел отвыкнуть от своей громкой прошлой жизни, и когда утром выходил из комнаты, то, казалось, удивлялся, что никто не уступал ему дорогу, не спрашивал, как самочувствие, ничего от него не хотел и ни о чем не просил. Хотя он-то не был в настроении слушать, не верил в другие средства убеждения как только держать в кулаке и ежовых рукавицах. Так действуют большевики, без мягкотелости, слюняйства, мелкобуржуазной распушенности, фарисейства. И все это так пропитало все его существо, вьелось не только в его характер, но глубже, в кость, кровь, в гены, что, казалось, будь у него дети, они сразу родились

бы не только такими носатыми, хрящевидными, но, даже, еще не обучаясь в школе, не зная азбуки и таблицы умножения, уже судили бы обо всем с апломбом и учили всех идейности.

АЙСОФЫ

В первой от входа самой большой комнате, с широкой, некогда стеклянной дверью, даже не в комнате, а в зале с толстыми румяными амурами на стенках, с огромными венецианскими окнами, которые вдруг сразу озарялись зеленым сиянием троллейбусной вспышки, проживала большая, шумная и вздорная семья-муравейник Пищиков, деды, бабки, зятя, деверья, племянники, двоюродные и троюродные братья и сестры, и все чернявые, курчавые, крикливые, очень похожие друг на друга.

И к ним еще приезжали из разных дальних и близких городов, и просто приходили в гости из разных районов, и все такие же чернявые, курчавые, азартные, приставучие и настырные, и иногда казалось, что они тут оставались жить, мельтешили, меняясь паспортами, и не только участковый дворник или соседи, но, пожалуй, и они-то сами не могли разобрать, кто есть кто.

И все это жужжало, как шмелиное гнездо: то разбуженное вдруг взревет, то попритихнет, но чаще всего жужжит постоянно, ровно, и в этом жужжании — и хрип радиоточки, и треньканье цыганской гитары, и ленивое переругивание шальных, с лукавыми глазенками ребятишек, и постоянная работа мясорубки, которую они почему-то держали в комнате, и стук-постук — чего-то там они строгают, пилят и вечно ладят, — и еще какое-то непонятное, странное гудение, словно там действовал челнок самодельной ткацкой машины или, может, самогонный аппарат, и еще будто кого-то стригли машинкой и он вскрикивал.

Спали в два и даже три этажа, на нарах, и всегда кто-то храпел и стонал во сне, а остальные в это время ссорились, пели, чавкали, а черная тарелка репродуктора "Рекорд", не желая ничего этого знать, бубнила про свое.

Уже с самого раннего утра, зимой, еще в полной темноте, когда люди только просыпаются, там уже рычал, дребезжал хриплый, разухабистый патефон, и уже беспрерывно крутился он весь день и пел жарким, зовущим голосом, звал на Гвадалквивир. Обезумевшая тупая игла, как гвоздь, кружилась и царапала заигранную и переигранную пластинку.

Говорили, что они айсоры, а кто такие айсоры, что это за нация, племя, откуда они взялись и расселились по всем городам и городишкам России, от бульвара Фельдмана в Одессе до Золотого Рога во Владивостоке, и замахали пушистыми сапожными щетками — никто этого толком не знал, да вряд ли они сами это помнили.

Откуда они взялись, где их настоящая родина, ведут ли они род свой из Ассирии-Вавилонии или откуда-то поближе? Говорили они на странном, немислимом наречии, удивительно перемешивая какие-то тарабарские слова с русскими словами и жаргонными словечками. Но счет деньгам всегда вели по-русски.

То они распространились по всем ближайшим уличным перекресткам, восседавая в самодельных будках среди разноцветных шнурков, ваксяных коробок и гирлянд белых стелек, и чистили обувь, быстро мелькая щетками; то, когда началась война и никому не было до глянца туфель, они рассыпались по всем рынкам и торговали с рук старой ветошью, военным пайковым хлебом, водкой, сахаринном, сульфидином, медалями "За отвагу"; то, когда снова пришли мирные дни, их можно было встретить у всех ближайших станций метро — зимой с первыми мимозами, весной с тюльпанами и ландышами: "Нарциз! Нарциз!"; а поздней осенью — с перчатками, варежками, шарфами: "Импорт! Экспорт!" "Экспорт! Импорт!"

Они появлялись немедленно всюду, где был очаг дефицита и пахло свежим рублем, будь это мимозы, бюстгалтеры, карамельные петушки или игрушки "уйди-уйди", и не важно, привозилось ли это самолетом или тут же кустарно изготовлялось, за углом, в потайном подвале.

Это было то же самое, что иметь под боком золотую орду: орут на рассвете, и весь день, и ночью, иногда не ути-

хая подряд целую неделю, если у них праздник, или чья-то удача, или такое настроение. А если свадьба, так это даже чувствовалось в проезжающих троллейбусах.

Однажды серолицая чахоточная дочь вышла замуж тоже за чахоточного, с которым познакомилась в районном тубдиспансере.

Свадьба была шумной, дикой, и так как электричество было выключено за пережог лимита, то она происходила при свечах и коптилках.

Было много гостей туберкулезников и выпито много водки в этот день на свадьбе, и еще на следующий день, и много дней подряд с утра до вечера играл патефон — они никак не могли закончить свадьбу.

И всю эту шальную ораву, в жестких и мелких, как барашек, кудряшках, качало из стороны в сторону, казалось, и комната раскачивалась, и внутри все плясало, пило водку и закусывало виногретом, клепало, и хвасталось, и тарабарничало, вспоминая обиды прошлые и нынешние и выдумывая будущие, цыганило, дралось, царапалось и мирилось, пело и пило согласно, пока снова не начинало царапаться до крови, до расплаты, не прощая ни одного слова, ни единого взгляда, ни одного намека.

Пьяное веселье замерло на несколько часов и вспыхнуло с новой силой. В это время самый маленький впервые надел огромные чоботы и пошел самостоятельно во двор, и через час его привел милиционер, он попался на краже бутылки водки в столовой.

Гости уходили и приходили, и приводили новых гостей, в коридоре и на лестнице валялись пьяные, и люди, уходившие на рассвете на работу, переступали через них, как через бревна.

Невеста через неделю неожиданно слегла, ее увезли в больницу, и она умерла к ужасу табора, который успел прописать жениха на своей жилплощади.

Когда возвратились с похорон, начались поминки, и они были такие же шумные, громкие, отчаянные и казались продолжением свадьбы.

А как отшумели поминки, пошла драка между семьей и женихом, которого тут же стали выселять с площади. Патефон играл, жарким голосом призывая на Гвадалквивир, а вся семья наваливалась на жениха, и душила, и выталкивала на улицу, на мороз, а он не уходил и, избитый, в царапинах и кровоподтеках, все возвращался, открывал двери и говорил:

— А я прописан, и никто не имеет права...

Он говорил, что понес убытки и уйдет, если только ему вернут расходы на свечи и гроб, но это была только отговорка, он никуда не ушел, а подал в суд, и народный судья с двумя заседателями отсудили ему несколько квадратных метров, и теперь он жил в одной комнате с табором, отгородившись от него буфетом, и они все время ссорились и тайне передвигали буфет с воображаемой границы.

— Я подвигаюсь, — говорил он, — хочу распространить свою территорию, а они при каждом отсутствии задвигают и задвигают, совсем нечем дышать.

Теперь днем и ночью кашель его слышен был через все стены и перегородки. Когда он приходил в кухню к своей кастрюльке, он отхаркивал в индивидуальную спичечную коробочку, и хозяйки отворачивались, поджимали губы, и им казалось, что палочки Коха бегают по стенам.

Он давно уже не работал по инвалидности и весь день на чердаке вытачивал каких-то матрешек и ванек-встанек и продавал их на Киевском рынке, и табор уже трижды приводил милицию, жалуясь на незаконный промысел и требуя выселить бывшего зятя с режимной улицы как спекулятивный элемент. Но у него все было в порядке по части инвалидности, и по части туберкулеза, и по всем другим линиям советского гражданина, и его оставили в покое, к возмущению табора.

— Колеблющийся человек, — говорили они, — плохой, очень плохой.

Современная жизнь, с ее собраниями, политикой, напряжением идеологической борьбы, морально-политическим единством, их как будто совершенно не касалась, не задевала своим жестким крылом.

Они не только ничего не хотели об этом знать, но им и в голову не приходило всем этим интересоваться, все это происходило в каком-то другом измерении, для других людей.

ТЕРРОРИСТКА

Рядом с ордой жила тихая сердитая старушка с мертвыми глазами и усеченным, как конус, подбородком, не соприкасаясь с шумной, таборной жизнью, глухая ко всем слухам, сплетням, кухонным интригам, не читая газет и журналов. Даже радио в ее комнате молчало.

Во всех комнатах, по всему длинному коридору радио целый день орало, хрипело, протяжно пело хором Пятницкого и плясало, топотало ансамблем песни и пляски или говорило государственным голосом Левитана, а эта комната мертво молчала, и даже подслушивавшие ничего не могли услышать, а в замочную скважину ничего не было видно — с той стороны торчал ключ.

Уже и к участковому поступали анонимки, что в этой комнате слишком подозрительно тихо, старорежимно, несоответственно бурному текущему моменту, что, как старосветская помещица, живет Розалия Марковна, и в этой подозрительной тишине, может статься, кроется что-то агентурное.

Но приходил участковый в тонких сапогах, при каштановой кобуре, и, вежливо постучавшись к Розалии Марковне, осторожно входил в ее комнату, оглядываясь и все запоминающая, задавал несколько отвлеченных историко-биографических вопросов, и, получив от нее исчерпывающие ответы, выходил спокойно, и даже как-то косо, сердито поглядывал на столпившихся у дверей анонимов, глядевших в его руки — не вынесет ли он оттуда бомбу или банку с ядом.

Жила Розалия Марковна, как ночной мотылек. Только в полночь, когда никого уже нет на кухне, когда остыли примуса и керосинки, и все дремлет, неслышно прошелестит на кухню и что-то там сварит, вскипятит в своей кастрюльке какое-то варево, и быстро унесет в свою комнатку — и слава Богу.

Правда, говорили, что не всегда была такой тихой и незаметной Розалия Марковна, что когда-то, в давние времена, была она суфражисткой, ходила в эсдеках или даже анархосиндикалистах, и бушевали в этом крохотном теле террористические бури, и прятала она у себя под кроватью бомбы, и даже раз метала бомбу под карету кровавого губернатора. Но уже в это решительно трудно было поверить — как она этими кроткими, сухими, в веснушках ручками могла и прикоснуться к бомбе.

Розалия Марковна, наверно, всегда была худенькой женщиной, но теперь она высохла совсем в девочку-подростка, со сморщенным, как груша из компота, личиком, и молнии, некогда сверкавшие на этом лице, совсем затянуло сетью морщинок, терпеливым покоем.

Я иногда приходил в ее мертвую комнатку и перебирал тяжелые картонные листы ее "боевого", как она говорила, альбома. На старых тусклых снимках я видел нежное пастельное местечковое личико гимназистки, потом она стриженная, гордая курсисточка, потом властная, суровая, разрушительная, в кожанке и высоких шнурованных румынках, с маузером в деревянной кобуре.

Как она ораторствовала, удивляя градоначальников, станových, городских, сколько речей произнесла, сколько протестов, поправок к резолюциям, сколько слов в порядке ведения собрания по мотивам голосования.

А теперь затихла, будто зашили ей рот, замолкла навсегда, как моль.

В ее комнатке было несколько фикусов с большими, толстыми, лопатообразными листьями, которые она мыла мылом. И в этой захлавленной комнатке они казались живыми пришельцами из другого, давно забытого, а некогда существовавшего мира, который был до всего этого, до террора, до комиссарства, до коммунальной Москвы, там, далеко, в тихом зеленом мире палисадников, желтых подсолнухов, утреннего крика петухов.

Утром она поливала фикусы из лейки и возвращалась к той жизни, которая была еще до того, как занялась бунтами, платформами, фракциями вместе со своим мужем

Рафаилом Альбертовичем, который угодил туда, куда все угодили, все подруги, все товарищи по партии, по оппозиции, по алгебре революции. А она неизвестно как и почему осталась на поверхности, то ли забытая, потерянная на дороге где-то между двумя акциями, то ли не сработал какой винтик, какой-то ленивый, нерасторопный разгильдяй заткнул ее карточку не в ту ячейку. Или вовремя Розалия Марковна исчезла, переехала, растворилась, а может, и бежала с этапа и утихла, перевоплотилась в божью коровку, а потом уже было не до нее, потом забирали, умертвляли тех, кто ее искал, и уже никто ее даже не помнил. И осталась Розалия Марковна одна на всем свете, устраненная из политической атмосферы.

Лишь заглянув в эти глубоко врезавшиеся под лоб круглые глазки и встретившись с пронзительными зрачками, можно было уловить искру того давнего, горевшего неумолимым, нестерпимым, бесноватым огнем, а ныне как бы покрытого печальным пеплом равнодушия и усталости.

Лишь в ее суетливой угловатой фигурке, в быстроте и резкости движений, в нервной хриплости голоса еще сохранилось что-то от той старой Розалии Марковны, боевика, террористки; да еще была короткая стрижка и приверженность к мужского покроя курткам.

Рассказывали, что после ареста мужа некоторое время она была фармацевтом, и даже очень хорошим, и могла составить целебные средства из чепухи, но в одну из чисток, тех многочисленных и шумных чисток, ее вычистили как чуждый, неблагонадежный элемент. И она так испугалась, что после, когда прошла кампания чистки, вдруг обнаружила, что позабыла все рецепты, фармакопея ушла, как вода сквозь сито, и остались только обломки, только осколки, какие-то формулы, какие-то отрывочные латинские термины, которые уж никак не составлялись в нечто разумное, целебное.

Постепенно Розалия Марковна научилась вышивать, и шелком вышивала по подушечкам всякие узорчики, и за этим занятием успокоилась, забылась. И теперь весь ее безумный пыл переустройства общества путем террора и дикта-

туры ушел в кроткое, неслышное вышивание цветными нитками мулине по шелку кошечек и кроликов.

Ах, Розалия Марковна, Розалия Марковна! Что с вами? Кто поверит, кто поймет, как это получилось, как это вообще возможно?! Где ваш бунт, ваш дьявольский протест, ваша жертвенность, иудейская настырность и кипучесть, бросавшие гневное праведное слово русскому самодержцу?

Вы бледнеете от одного косога взгляда Свизляка, вы уже прекрасно заранее знаете, что значит этот взгляд бдительности и кто является вслед за ним.

Да, иногда вы еще и сейчас приходите в дворик Музея революции, в этот зеленый скверик у прекрасного соразмерностью своей фронтона Английского клуба, и собираетесь тихой, незаметной, грустной кучкой, все такие же маленькие, усохшие, крошечные старушки в стареньких, еще с цветочками, шляпках и тихо, чуть ли не немо, переговариваетесь, сообщаясь почти телепатией. А жизнь — вот она грохочет, яркая, грубая, сегодняшняя, беспощадная, несется мимо, смеясь, в махеровых шарфах и замшевых ботинках, проезжает в черных "Волгах" и не хочет, и не желает знать ваши химеры, ваши недоумения. Но еще придет, придет время, день и час, когда жадно прислушаются к вашим воспоминаниям, к вашему раскаянию, к вашей исповеди и задумаются над своей молодой жизнью.

БОНДА ДАВИДОВИЧ

Представитель художественной богемы, длинноволосый старый лабух, Бонда Давидович Цулукидзе, чудный человек, игравший со своей музыкальной артелью на похоронах, был кроликом в жизни, тигром на работе. Уже все уходило на службу, уже дети отправлялись в школу, уже на кухне прошел первый шквал утренних стычек, и только тогда Бонда Давидович выходил на кухню, с удовольствием умывался, отфыркивался, трясая седой гривой над краном, пофыркивая, визжал в брызгах ледяной воды. На конфорке шкварилась его сковородка, всегда одно и то же, изо дня в

день, из года в год, всю жизнь — картошка на маргарине. И, позавтракав, Бонда Давидович стучался ко мне, молитвенно складывая ручки и кивнув на телефон, говорил:

— Позвольте, одну гамму.

И начинались длительные, энергичные, напористые переговоры с музыкальной командой.

— Костя-тромбонист? Нет, он много пьет, и у него не хватает дыхания!

Он снова слушал ответ.

— А кто дает темп? Мы или жмурики?

Разговор о жмуриках шел каждый день, и я тоже понимал, что, если впереди жмурик, — это дороже, если же ведут лабухи, то похороны идут со скоростью 50 километров в час, и такса дешевле.

Отговорив, Бонда Давидович иногда сообщал мне:

— Сегодня иду в оперу. Ведь у меня совершенный слух. Какое удовольствие услышать, как сфальшивит флейта! Ведь вы этого не понимаете.

Бонда Давидович не участвовал ни в революциях, ни в бунтах и вообще жил вне времени и пространства. Ему было все равно — была Великая Октябрьская революция или нет, прошли ли НЭП, коллективизация, индустриализация и репрессии 1937 года. Даже Отечественная война задела его только крылом: 16 октября сорок первого года он был все-таки взят на земляные рубежи под Нарой. Но 16 октября ушло, и он снова вернулся к кларнету, и жизнь его теперь отличалась от прежней только тем, что за игру на похоронах он получал не деньгами, а сахаром или крупной или, в крайнем случае, хлебными или мясными талонами, на которые по знакомству получал красную икру. А похорон было очень много, больше, чем когда-либо за всю его долгую жизнь.

Бонда Давидович никогда не читал газет, разве только если в "Советском искусстве" раз в год напишут о халтуре и встретятся знакомые фамилии. Но и тогда он читал не газету, а вырезку из нее, обтрепанную, грязную от многочисленных рук и карманов, в которых она побывала. Бонда Давидович ничего не знал и знать не хотел о всяких поста-

новлениях ЦК и Совнаркома, о борьбе идеологий, а в кружке по изучению текущей политики, куда его все-таки загоняли, он из года в год, вот уже двадцать лет, успевал дойти только до выборов в первую государственную думу, а что было дальше — не знал.

Бонда Давидович был весь погружен в реквием, и вся жизнь, жизнь Москвы казалась ему единым и безостановочным конвейером смертей, великим крестным путем на Ваганьковское, или на Введенское, или в последнее время — на Востряковское кладбище. А потом были поминки, или если не было поминок — родственнички не тратились на поминки — то они сами, лабухи, заходили в одну из прикладбищенских забегаловок и выпивали косушку с пивом, закусывая воблой, если она была, или просто сушками.

Никто к нему никогда в гости не приходил, и писем он ни от кого не получал. За все время только раз, тотчас же после конца войны, почтальон постучался и принес Бонде Давидовичу удивительный, узкий и длинный твердоглянцевый пакет с чужеземной, с изображением льва, маркой. И Бонда Давидович дрожащими руками принял письмо, пощупал, посмотрел его на свет, даже как будто и понюхал, и потом дня три не выходил из комнаты, затих у себя, как будто умер.

Но вскоре его куда-то вызвали, приходил специальный человек в новой шляпе, с новым желтым портфельчиком.

Свизляк говорил, что Бонда Давидович получил наследство от Ротшильда.

И ДРУГИЕ...

В коридоре, за фанерной перегородкой, в темной без окна каморке, как в пенале, жило семейство тети Саши, уборщицы "Гастронома", а в праздники, когда в пенале появлялся проходящий муж тети Саши, играли на гармошке, пили вино и самогон, закусывали холодцом из телячьих ножек, отпускаемых мясным отделом "Гастронома" со скидкой своим сотрудникам.

А уже в самом конце длинного, темного коридора, там, где, казалось, завершается история новейших времен, в закутке под лестницей на чердак, проживала одинокая, надтреснутая старуха с желтовато-седыми волосами, смотрительница туалета в Столешниковом переулке. Как шлейф, тянулся за ней аромат ее заведения, и после нее, казалось, пахнут стены, книги, и было жутко.

И когда она заболела и долго лежала одна в конуре, неизвестно чем питаюсь, однажды пришла целая делегация с перевязанной цветной ленточкой картонкой торта — какой-то там предместкома этих туалетных учреждений и две женщины, одна такая же точно старуха, копия нашей, а другая совсем молоденькая, в завитых кудряшках, и долго стучались в крохотную дверцу. И странно было слышать обращение предместкома: "Товарищ Сорока! Это к вам от коллектива, товарищ Сорока".

Еще на первом этаже, прямо подо мной, жила старая отставная актриса, бывшая опереточная дива.

Ночью, всегда только ночью, в самые глухие часы, слышно было, как она поет, репетирует легкомысленные арии надтреснутым дребезжащим голосом, и хотелось плакать.

Однажды у меня испортился телефон, и я отправился к ней, чтобы позвонить в бюро повреждений.

Дверь открыл мне мальчик, и почему-то он был в каракулевой шапке пирожком и шубе с шалью.

Я сказал:

— Мальчик, можно позвонить?

И он писклявым, капризным голосом обиделся:

— Я не мальчик.

— Простите, — сказал я, и разглядел старого лилипута.

— Ничего, — огрызнулся он.

Лилипут с желтым, сморщенным с сушеный финик лицом, несмотря на свой лимитный рост, не понимаю, как это ему удавалось, взглянул на меня как бы сверху вниз, невнимательно и высокомерно.

— Только поскорее, мне некогда.

Пока я набирал бюро повреждений и объяснялся, лилипут стоял в сторонке, в углу, в своей шапке пирожком и шубе

с шалью, и глядел на меня взглядом презирающим и не признающим мое существование.

Да, лилипут Петр Петрович вскоре умер от инфаркта. У дверей квартиры стоял гробик, как на младенца.

И было тихо.

Когда умирают люди, пусть это даже лилипут, и в коммунальной квартире на миг все задумываются о тщете, суете жизни. В этот день на нашей кухне говорили вежливо и грустно.

Остается только представить дворника Овидия, кривонного мужчину с каторжно бритой головой и бельмом на глазу.

Овидий так Овидий, так и звали его жильцы, так окликали его соседние дворники, и бестии, и прощелыги ближайшей закуской-пивной, так он был записан и в домовое дело, и так величал его сам участковый уполномоченный, товарищ Веригин, не задумываясь над генезисом этого странного для московского дворника имени, над генеалогией одного из своих помощников и самых рьяных осведомителей, у которого днем и ночью можно было узнать все, что касается населения этого дома, их родственников и знакомых.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

День начался странно, дико.

Разбудил меня телефонный звонок, и высокий, взвинченный, обессиленный женский голос спросил:

— Это дом малютки? Как самочувствие ребенка Ключель?..

Тусклый, как бы фиолетовый свет процеживался сквозь замерзшее окно. Наледь снежная была в палец толщиной.

Крашенные некогда масляной краской, склизкие, сырые стены опушены инеем. Вода в стакане на столе замерзла, и купленная накануне веточка мимозы, слабенькая, пушистая, тоже замерзла и, словно подурмяненная, сникла.

Не успел я задремать, снова телефонный звонок и измученный плачущий голос:

— Я стояла в очереди целых два часа, пришла домой, разворачиваю, а мне дали одни кости.

Сил не было объяснять что к чему, да и видно было, что она не поверит, и я устало сказал:

— Хорошо, приходите, обменяем.

— Вы прикажете, да, вы прикажете? — кричала женщина в телефон. — Я с ночи стояла.

— Прикажу, — сказал я.

И донеслось до меня жужжание тугой, как пружина, очереди, еще в темноте подворотни уцепившейся друг за друга, как звенья цепи, самой отчаянной, нерасторжимой на свете цепи продовольственной очереди — чернильным карандашом номера на ладони — и вот так, уцепившись друг за друга, вышедшей на шумный свет улицы, во главе с церемониальным сержантом, шествующей словно в замедленной съемке; серые-серые ватники, туалет де нор, огромные кирзовые бабьи сапоги, вперехлест авоськи, клеенчатые, дерматиновые сумки...

Я поглядел в окно. В сером безжизненном сумраке зимнего рассвета быстро, почти бегом, шли по тротуарам темные фигуры, и у всех до одного были хозяйственные сумки, некоторые несли на руках спящих детей или волочили их за собой, закутанных в пальтишки, в пуховые платки, обутых в валенки, и в эту рань некоторые хныкали, а другие молчали равнодушно.

Одинокие черные фигурки перебежали еще пустынную улицу, издали освещенные приближающимися фарами, и вот он вынырнул из темноты — огромный крытый фургон с белой от свежего снега крышей: где-то за городом, где скотобойни и склады, шел снег, пролетел, исчез. И перебежали новые фигурки, и снова приближались фары, теперь уже их было сразу несколько, а потом вдруг словно прорвалась плотина, они пришли огненным стадом, нетерпеливым, грохочущим, заполнившим всю улицу, и свет фар беспокойно пробегал по потолку темной комнаты, как волны бесконечной реки.

Словно сквозь сон бубнило радио что-то о ветвистой пшенице, которая так никогда и не вырастет, потом захри-

пело, захлебнулось и вдруг сразу со всех сторон, во всех комнатах, заиграло и заговорило бодрящим голосом: "Раз-два! Раз-два!" Будто там, откуда оно вещало, было вечное солнце, райские кущи.

Снова резко и сильно зазвонил телефон, и легкомысленный голос сказал:

— Откройте форточку, приготовьтесь к физзарядке, расставьте ноги, глубже вдохните.

— Кто говорит? — спросил я сонно.

— Ваш доброжелатель, который хочет, чтобы вы исправили фигуру, чтобы у вас были плечи крутые, с шишечками по бокам...

И вдруг прервали, и ясный, грубый, из другой оперы голос сообщил:

— Докладывает 1556.

Я бросил трубку, зажег коптилку и будто впервые увидел свою комнату, закопченный, в саже, потолок, сиротливо свисавшую на длинном шнуре стосвечовую голую лампочку, выцветшие газеты на столе вместо скатерти, сковородку и жестяной чайник, пальто и шинель на гвоздях, будто кто-то стоял у стены и ждал меня.

Как и все, я не выбирал этого жилья, не пришел сюда потому, что мне нравится эта улица, ее тишина, ее зелень и спокойствие. Это была самая шумная, грохочущая, жадная улица, напоминающая аэродинамическую трубу, в которой проверяют моторы самолетов, от гула которых некуда деться, а в этой трубе и спишь, и ешь постную картошку, читаешь газеты и романы, ссоришься и целуешься, и болеешь гриппом, и тоскуешь... Я думаю, я склонен думать, что из всех миллионов комнат старой Москвы, от Филей до Абельмановской заставы, не было более несуразной, дикой и неудобной, похожей на каменный карман, с узким окошком на самую шумную в городе площадь, как раз у поворота транспорта, так что все шедшие по Садовой машины, если им нужно было повернуть на Арбат, именно здесь с рычанием и воем разворачивались.

А ночью, когда немного стихал грохот непрерывного потока, и только одинокие машины шли с воем "скорой помо-

щи", под самое окно к водопроводной колонке приезжали на водопой со всего района огромные, неуклюжие поливальные цистерны, выстраивались в очередь с невыключенными моторами, и фыркали, и сифонили, и ревели в шлангах вода. А под 1 мая и 7 ноября именно здесь сводный военный духовой оркестр МВО репетировал "Война священная", ревели трубы, гудели барабаны и стекла дрожали и вибрировали.

Дикий слепой случай, как и во всем в жизни, решил и жилищный вопрос.

В холодную военную весну я пришел сюда с разрешением на временную прописку, я был в летнем комбинезоне, в папаче с красной ленточкой и со старым пистолетом ТТ в самодельной кобуре, сработанной партизанскими кожевенниками в лагере под Бобруйском.

Управдомша встретила меня со строгостью особиста.

Это была женщина с торсом Венеры и лицом новобранца, в ватнике и кирзовых сапогах, с рыжим перманентом и накрашенными губами, полудиверсант-полулоретка.

Она трижды перечитала бумажку, заглянула на обратную сторону, потом посмотрела на меня и сказала:

— Значит, так, фуксом хотите?

Я смолчал.

Она ведь видела водяные знаки этой бумажки.

Дело в том, что некий старый холостяк, бывший фининспектор, выгодно женившись на отдельной квартире и все равно терявший площадь, согласился уступить мне свою старую нежилую комнату, оставив один на один с соседями, давно зарившимися на эту площадь; с дворником Овидием, который тоже целился на нее, с домоуправшей-взяточницей, с Моссоветом, с милицией, с паспортным столом, со всеми законами и Указами и с самим Верховным Советом. И всякими правдами и неправдами, многочисленными отношениями, ходатайствами, телефонными звонками сверху вниз и снизу вверх, облепленный заявлениями, доносами, судебными постановлениями, я постепенно переделывал прописку временную на постоянную.

Но это уже было после.

А тогда, замерзший, почти ледяной, заматерелый дом встретил нас молчанием. Мы шли пустым коридором, кто-то за дверьми в комнатах возился. Оказалось, это шуршали мыши.

Наконец появилось что-то высокое, тощее, несчастное, в мохнатом халате и в пуховом платке крест-накрест, в чувяках с загнутыми носками, что-то похожее на помесь Дон-Кихота и Обломова. Оно поглядело на нас и неожиданным фальцетом резко сказала:

— А почему, позвольте осведомиться, не работает ватер-клозет?

Я развел руками, управдомша рассмеялась.

— Товарищ Цулукидзе, и не стыдно вам во время войны приставать с такими мелочами?

— Позвольте, позвольте, — сказала помесь Дон-Кихота с Обломовым, — но при чем тут война?

— А при том, что не отпущены средства, — уже вскричала управдомша. — Пойдемте, товарищ фронтовик. — И она двинулась вперед в своих кирзовых сапогах, словно это она только что вернулась из немецкого тыла.

— Живут тут всякие, — сказала управдомша. — Я бы их вообще выселила из столицы. Какая от них польза!

Мы прошли в пустую кухню с огромной, как волейбольная площадка, плитой. Домоуправша открыла плечом дверь в крохотный, темный, затхлый коридор, потом еще одну дверь, как в стенной шкаф. И мы вошли в узкую, вытянутую кишкой комнату, серую, потерянную, с каменным холодом и плесенью всех военных зим.

В комнате стояла никелированная семейная кровать с пробитым матрасом и выскочившими пружинами, некрашенный, самодельный топорный посудный шкафчик с щербатыми, набитыми пылью чашками, кривая этажерка со старыми книгами и брошюрами по налоговым вопросам и с пауками, которые неизвестно чем живы были в этой мертвой, оплаканной комнате.

И невозможно было себе представить, что все эти годы, каждый день, с самого раннего утра в пустой комнате начало говорить радио, передавало сводку Информбюро, и пело

частушки, и играло фуги Баха, и брэнчало балалайками Осипова, и ревело сиренами воздушной тревоги, и бабахало салютами во славу орловских, харьковских, гомельских дивизий, и каждое утро, и в полночь, наговорившись, нахрипевшись, играло курантами.

Была оттепель, трамвай, трезвоня и разбрызгивая лужи снеговой воды, высекая искры из рельсов, летел вниз с Плющихи к Бородинскому мосту. У Киевского вокзала с передней площадки неожиданно вошел инвалид в ватнике и почерневшей от времени солдатской цигейковой шапке, с вырезанной из жести звездочкой, стал в дверях, упрямо оглядел пассажиров и, сняв шапку, вдруг истерически зашел:

— Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...

Дальше я не слышал, трамвай, уняв ход, медленно заскрежетал на закруглении у Киевского рынка, и я на ходу прыгнул, направляясь к рядам, где стояли пригородные бабы и старики с вязанками колотых дров и щепок.

Я выменял буханку полученного по аттестату окаменевшего и уже заплесневелого хлеба на вязанку дров и пешком, с вязанкой на спине, переулками направился в свой новый дом, все усмехаясь: "Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс"...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Каждое утро я просыпался в тоске и отчаянии пропащей, зря проходящей жизни, когда все повторяется, все повторяется и повторяется и кажется давно исчерпанным. Мне казалось, что всему миру сейчас темно и худо. И ни сегодня, ни завтра и никогда ничто не изменится, несмотря на все ожидания и вечную глупую и не остывающую надежду и иллюзии.

Но жить надо было.

Я обратился к этажерке.

На запыленных полках Толстой в дешевом огоньковском издании, тощие томики Бабеля и Андрея Платонова. Были

еще там Бунин и Ходасевич, привезенные с Маньчжурской кампании, из Харбина, Хемингуэй, взятый и не отданный библиотеке и еще дневник Жюль Ренара, таким же образом изъятый из библиотечного фонда. Отдельно стояли книги, которые я читал изо дня в день, не уставая перечитывать, с утра настраиваясь, как на камертон. Это был "Голод" и "Пан" Гамсуна, сказки Андерсена и избранный том Чехова — "Дом с мезонином", "Ариадна", "В овраге".

И, наконец, на нижней полке — вишневые тома Сталина, тонкие в белой обложке массовые брошюры Политиздата с докладами Молотова, Маленкова, Кагановича для семинара партпросвещения. Серые эти брошюрки были проработаны, проштудированы, строки подчеркнуты красным и синим карандашом и цитаты переписаны в конспекты.

Я взял томик Гамсуна — "Пан".

"Я сижу здесь, в горах, а море и воздух гудят..."

Вы, люди, звери и птицы! Я поднимаю стакан за одинокую ночь в лесу — в лесу!.. За зеленую листву и за желтую листву!"

— Спасите! — истерически запричитали в соседней комнате, и вслед за тем залаяла собака.

Я постучал в перегородку, она была, как мембрана.

— Товарищ Свизляк! — закричал я, и эхо откликнулось в соседней комнате гулко, как на площади во время парада, когда командующий объезжает войска.

— Товарищ Свизляк, вы бы потише немного радио.

— А я у себя в комнате, как хочу, так и регулирую.

Теперь парадное эхо стояло уже в моей комнате.

— Но слышно-то ведь во всей квартире.

— Ну и что? От этого не болеют! — кричал Свизляк.

— А я не обязан выслушивать все инсценировки, — кричал я.

— Вот как! А что, вам не нравится?

— Просто не хочу слушать.

— Вот как, — повторил Свизляк, — это уже интересно.

Сунув ноги в старые, стоптанные, еще партизанские унты, голый до пояса, я вышел в холодную, с замерзшими брызгами на цементном полу кухню умыться над раковиной. Обычно никто не оглядывался, стояли у своих индивидуальных, у своих золотых и бриллиантовых столиков, чистили картошку, рубили капусту, лепили котлеты. Не прощали они, нет, не прощали, что я имел карточку НР — и как бы про себя ворчали: "Подумаешь, научный работник".

Но в это утро никто не стоял у столиков, и не шумел ни один примус, и не дымился ни один из странных допотопных приборов, на которых варили, пекли, подогревали, подрумянивали.

Кухня полна была женщин, старых и молодых, пришли с первого этажа, все были тепло одеты, закутаны в платки, подпоясаны.

Сначала я подумал, что где-то давали свежую рыбу или уток, или может быть, даже воблу, а может, китайские шерстяные кофточки.

И хотя здесь были все квартирные партии, все враждующие группировки, никто на этот раз не ругался, не шипел, а все вместе чего-то ждали, оживленные, смеющиеся, какие-то размягченные, какие-то даже приятно подобрешшие, словно наступила всеобщая Пасха — Христос воскрес! — в коммунальной кухне. Они на меня взглянули и весело сказали: "Доброе утро", чего я уже решительно никогда не слышал и не ожидал услышать до самой смерти. И я, наверное, странно взглянул на них и так растерянно, и испуганно, и жалко ответил: "Доброе утро", что они коллективно кокетливо рассмеялись. Я не знал, разыгрывают они меня, или это мне снится, или, может быть, самодеятельный спектакль какой. Но скоро все выяснилось.

— У кого билеты? — стали спрашивать нетерпеливые.

— У Ворончихиной билеты.

В это время ворвалась в кухню Ворончихина, черная, жужжащая, будто шершень, заправленная в полушубочек, с горящими глазами.

— Девочки!

— А какие места? — стали спрашивать женщины.

— Партер, — сказала Ворончихина.

— Тарзан?

— Тарзан.

И все довольно засмеялись, и, толкаясь, вывалились из кухни, и, громко разговаривая, шумно спустились с лестницы.

Я снова взялся за Гамсуна.

"Легкие шаги, человеческое дыхание, веселый привет: "Добрый вечер".

Я отвечаю, бросаюсь на дорогу и обнимаю оба ее колена и простенькое платье.

— Добрый вечер, Эдварда"...

Жизнь Свизляка все время впутывалась в жизнь лейтенанта Глана и Эдварды.

... У Свизляка были две большие комнаты с сверкающе натертыми паркетными полами, была мебель в белых накрахмаленных чехлах, на которые никто никогда не садился.

Завтракали и ужинали Свизляки в темном крохотном, пахнущем нафталином коридорчике, заставленном шкафом со старыми книгами, на котором стояли оплетенные бутылки с керосином. И сейчас я слышал чавканье всей семьи и одновременно чтение газеты, потому что даже для самого себя Свизляк читал вслух, отдельно, с выражением, с величайшим уважением ко всем высоким Словам и Учреждениям, которые он даже и произносил с большой буквы.

Слышу в коридорчике его шаги, тяжелые, надменные, самоуважающие, и вот он стукнул в дверь. Я молчу, притворился спящим. Он постучал посильнее. Я приоткрыл дверь, он в щелку зыркнул, так и охватил сразу полкомнаты, потом заглянул мне прямо в глаза, до самой души.

— Ничего не знаете?

— Нет, а что?

— Это потому, что вы радио не слушаете.

Он ухмыльнулся.

— А что случилось?

— Поинтересуйтесь, — он покачал головой, повернулся и ушел в своей длинноволосой собачьей куртке.

Я включил радио. Черная плоская тарелка репродуктора зашипела, захрипела, словно откашлялась, и сообщила:

— Крупные небесные камни падают раз в две-три тысячи лет. Внутри они сохраняют холод далекого межпланетного пространства.

Я выдернул вилку.

Читать я уже не мог.

Я смотрю в окно. Напротив строят новый генеральский дом. Одну секцию уже сдали, вторая в лесах.

Ровно в 9 утра выходит генерал, застегивая на ходу шинель, садится в черную машину и уезжает.

Потом появляются рабочие на лесах, они советуются, перекуривают и начинают работать. Потом приходит начальство. Работа приостанавливается, и теперь курят все вместе — рабочие и начальство.

Слышно, как пришел почтальон, застучал крышками почтовых ящиков.

Я вышел.

Широкая дверь вся была усеяна ящиками и казалась бронированной, и на всех ящикгах висели замки.

Опять почтальон перепутал, и мой почтовый ящик был пуст, а в дырочках ящика Свизляка белела моя "Правда". Ящик был старый, покоробленный, еще довоенный, а может, и дореволюционный, но свежо окрашенный, запаянный где надо и даже с какими-то цветочками по синему полю. И сделан из такой толстой жести, что казался стальным и негорючим. Когда Свизляк приходил, перед тем как открыть ящик, он осматривал его со всех сторон, как сейф, — не взорвали ли?

И, как обычно, принимаешься карандашом подталкивать к щели сложенную вчетверо газету, захватываешь ее вилкой, уродуешь, рвешь и тащишь, и хозяйки, по обыкновению, с интересом наблюдают за операцией. Им приятны мои муки и еще больше, что это ящик Свизляка. Наконец я все-таки вытащил изорванную в лохмотья газету, скользнул по серым, однообразным полосам, похожим на вчерашние, позавчераш-

ние, и прошлогодние, и позапрошлогодние, и в самом конце номера, наимельчайшим шрифтом, где всегда самое главное, как ножом полоснуло — Хроника. АРЕСТ ГРУППЫ ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

На катке было обычное утреннее общество, все тот же Валерий Валерьянович, директор цветочного магазина, сивый, лукавый старичок в вязаной шапочке и в белых, шнурованных до колен ботинках, на фигурных коньках, капризно и жеманно поднимая то одну, то другую ногу, а за ним высокий, худой, как свечка, с маленькой головкой нарцисса, зубной техник, а за тем и еще старичок, который уже стал ссыхаться, уменьшаться, и все они составляли кружок, и, наблюдая их ледяное олимпийство, я совсем успокоился.

Рухнул дом Романовых, дом Гогенцоллернов, исчезли партии и классы, пыль осталась от Гитлера, а этот нейтральный легкомысленный кружок танцоров оказался гранитнее, незыблемее.

Вот так и получается, проходят революции и войны, восстания и чистки, а все заседает в старом составе урологическое общество и стоматологическое общество, и так же собираются филателисты и нумизматики, меняя монеты, карандаши и спичечные этикетки.

Когда я вышел из темной раздевалки, распахнулись серые, разорванные низкие зимние тучи, и засиял золотом снег, и я ослеп от солнца и радости.

И мимо заснеженная аллея, и красные снегири на кустах, я выскочил на ледяной простор набережной, вдали Воробьевы горы и алое ледяное солнце, и сразу все отбросило, отлетело, будто унесло ветром темное утро, и чад, и гвалт где-то жившей сейчас квартиры на Арбате, и ушла в небытие Великая эпоха, словно то приснилось, и вернулось детство, веселая Костельная гора, и на коньках вниз, вниз, крутись волч-

ком, лети в снежном вихре, и летят, разрываясь звезды, и все подвластно, все возможно, там впереди под пологом ночи, под звездами, на которых живут ангелы.

Девушка, мелькнувшая на повороте в черно-белом свитере похожа была на ласточку. Она оглянулась. Я ее нагнал, поехал сзади, разглядывая бедра, ноги, обогнал, заглянул в лицо, долго шел с ней рядом нога в ногу, слыша скрип беговых коньков о лед, заговорили неожиданно, она свернула в тихую аллею, и мы пошли одни, спустились на зеркальный лед Царицынского пруда, с заснеженными ивами на крутых берегах.

Только я вышел со света и сверкания катка на снежную аллею и, неловко ставя ноги в коньках, пошел, как на шпильках, по скрипящей замерзшей дорожке, я увидел — в конце аллеи стояли, выделяясь на свежее-выпавшем снегу двое в темных бобриковых пальто, и сразу понял, что это такое. Я сразу узнал их стопроцентно, не знаю — по темным бобриковым пальто и темным суконным ботам, или по этой особой озабоченности их стояния, или даже по тому, что они не глядели на меня, а усиленно разговаривали между собой, такие веселые приятели в солнечный зимний день на свежем воздухе.

И только пережитый, только освещавший меня вольный, распахнутый на все стороны солнечный мир снега и неба вдруг сузился в крохотный, с подтаявшим, темным, затоптанным снегом пятачок, на котором я стоял на коньках, не зная, куда идти, вперед в раздевалку или бежать назад в оставшийся за спиной мир, снежный, и они как бы заметили мою нерешительность, с интересом наблюдая за мной.

Я будто вошел в глубину вогнутого зеркала, живой звучный мир затих и притаился, а я раздвоился, я шел и видел самого себя, и тот, которого я видел со стороны, шел прямо, твердо, неукоснительно на коньках, словно на ходулях, а тот, который был я, чувствовал, как подкашиваются ноги.

Грязно-коричневые, совершенно одинаковые бобриковые пальто и шапки фальшивого котика — близнецы до последней пушинки, снятые с одного конвейера боты, даже, по-

моему, одного размера, хотя они были разной комплекции, а оттого и лица их на самом деле совершенно разные — у одного пухлое, как разваренный картофель, а у другого остренькое, болтливое, подвижное — тоже казались одинаковыми.

Перед тем как войти в раздевалку, я оглянулся. Один из них стоял, расставив ноги, и глазел на облака, а другой пошел в телефонную будку и стал поспешно набирать номер.

Он говорил что-то быстро и суетливо, одновременно открыто, не таясь, глядя сквозь стекла на меня, медленно разглядывая и как будто с натуры описывая тому в телефонную внешность. И вдруг мне показалось или померещилось, я по губам различил, что он ясно назвал мою фамилию, назвал по слогам, и мне стало душно.

Я медленно расшнуровывал ботинки, медленно и щепетильно вытирал коньки, потом несуетливо стянул свитер, медленно завернул в газету, спрятал в портфель, посидел немного на скамейке, отдыхая.

Все мое существо, все, что есть Я, ждало их ежедневно и ежечасно, не забывало про них никогда, неожиданный стук в дверь и всегда первая мысль — Они. "Кто там?" И отвечают: "Телеграмма", или "Мосгаз", или жалкий виноватый писк: "Извините, нет ли у вас спичек?"

Когда я вышел из раздевалки, черных близнецов не было, солнце сверкало на снегу, и слышалось капанье с крыш, и я рассмеялся, сердце переполнилось радостью и облегчением, я шел снежной аллеей свободно и весело.

Но, выйдя из-под арки, из-под той массивной, серой бетонной арки, я увидел, что черные приятели были уже тут, они стояли, разговаривая друг с другом на солнышке.

К остановке подходил трамвай. Вожатый зачем-то трезвонил, и только, когда вагон надвинулся и я увидел за стеклом в тулупе человека, я понял, что это я стою слишком близко к рельсам, и отодвинулся, трамвай обдал меня звонкой снежной пылью. Первый вагон прошел мимо, и я вошел с задней площадки и протянул деньги кондуктору в нитяных перчатках с отрезанными кончиками на красных, грубых пальцах.

И когда трамвай уже почти тронулся, близнецы побежали вдвоем, рядом, как цирковая пара, и на ходу вскочили с задней площадки последнего вагона.

Я сошел у метро Парк культуры и отдыха и, не оглядываясь, почувствовал, что они тоже сошли, и, так и не оглядываясь, я медленно, словно ничего не подозревая, пошел к троллейбусной остановке у бывших Провиантских складов, все время спиной, затылком, плечами чувствуя, что за мной идут.

Я остановился у забора и под снегом стал прилежно читать афиши, все афиши подряд: "Великий государь", "Иван Сусанин", "Садко", "Хождение по мукам", "Хитроумная влюбленная", "Четыре жениха".

Я подошел к газетному стенду и привычно, и скучно скользил по серым полосам, без единого клише, сверху донизу туго набитыми унылым набором. И опять натолкнулся на хронику. И снова стал читать и перечитывать. Кто-то откуда-то сбоку глядел на меня и не мог дожждаться.

— Как делишки, бегемот? — сказал веселый голос.

Я знал ее давно. Сначала она хотела быть киноактрисой, потом художницей, потом переводчицей и успокоилась, став ретушером в модном фотоателье.

— Хочу сделать костюм с серым каракулем, — сразу же затараторила она, — узкую уютную юбочку с двумя складками, не будет под пальто смотреться, но мне наплевать. А на груди абстрактную брошку с древнеармянской вязью. Звучит? — она сощурила глаза. — Мне идут более убитые цвета. Сейчас модно малина, разбавленная молоком, или цвета гнилой вишни...

— Наташа, слушай, что я тебе скажу, — прервал я ее. — За мной ходят, понимаешь?

— Кто ходит?

Она стремительно взглянула вдоль улицы.

— Не оглядывайся, главное, не оглядывайся.

— А что случилось? В чем дело?

— Не знаю, вот сейчас я обнаружил, что за мной ходят два типа...

— А кто они такие? — спросила она с наивностью растения.

Я усмехнулся.

— Знаешь что, пойдём со мной, может быть, они отстанут?— продолжала она.

— Нет, они не заблудятся.

— Ну, тогда поезжай, я тебе позвоню, узнаю, как ты доехал, — сказала она, как мать маленькому мальчику.

— Не надо, телефон уже наверно слушают.

— Кто слушает?

— Кому надо.

Она покачала головой.

— Что же теперь будет?

— Не знаю.

— Но ведь это кошмар. Я не представляю себе, чтобы я могла с этим жить, я бы сошла с ума.

— Наверно, это тяжело сначала, а потом привыкаешь, потом, как ни в чем не бывало.

— Откуда ты знаешь?

— Рассказывал, кто это уже имел, потом даже скучал без этого, представляешь, чего-то не хватает, как-то пусто.

— Байки, — она засмеялась. — Нет, я не хочу, не хочу и не хочу. Смотри, он глядит нагло прямо сюда, бессовестный.

Может быть, к кому-нибудь обратиться, чтобы они перестали это делать? — сказала она.

— К кому?

— Я не знаю, но, наверно, кто-то есть там наверху, кто этим занимается. Нельзя же так жить, когда за тобой ходят. И это ведь может плохо кончиться.

— Боюсь, это уже плохо кончилось.

— А что ты сделал?

— Если бы я знал.

— Но это ведь не может быть так, ни с того ни с сего.

— Может быть.

— Но ведь не за всеми же ходят.

— За всеми, — вдруг решил я.

Она открыла рот.

— Теперь уже за всеми, — убежденно сказал я.

В это время к остановке у Провиантских складов подкатил троллейбус.

— Ну, я поехал.

— Позвони мне, я буду ждать, — закричала она.

Я кивнул и вскочил в троллейбус, почувствовав, как за мной тотчас же закрылась дверь.

Троллейбус тронулся и тут же остановился, и один из черных близнецов, непонятно как и откуда появившийся, уже влезал в неожиданно открывшуюся перед ним переднюю дверь.

Я отвернулся, и стал смотреть в заднее стекло, и вдруг увидел, словно на экране, как из-за угла появился второй близнец и на расстоянии спокойно пошел за Наташей в метро.

Значит, теперь это будет вот так, именно так. Стоит мне только поздороваться или заговорить с кем-то, тотчас черный раздвоится, от него отделится тень и пойдет за тем по следам, как за зайцем. Все вокруг станут зайцами. Полным-полно зайцев.

...Я вошел в дом, с силой захлопнул дверь, и будто взрывной волной меня бросило, прижало к стене, контузило, все, перемешалось, и стало трудно дышать.

Жизнь моя, разрезанная пополам, ушла как бы в глубь бинокля и стояла там вдали чужая.

Смутно, серо, зыбко сеялся поздний свет. Я тихонько, вдоль стены, не дыша, на цыпочках пробрался к окну.

Внезапно ожил, зазвонил телефон. Он звонил необычно резко и настойчиво, истерично и вдруг замолк. А я глядел на него, и у меня кружилась голова.

Как хорошо еще было жить вчера, позавчера, и как не ценил, никогда не ценил жизнь, все был недоволен, и угрюмо бродил по улицам, и считал себя самым несчастным, смотрел на лица гуляющих под ручку, на ожидающих такси, на смеющихся. Все были счастливы, все куда-то спешили, у всех была цель.

И вдруг я его увидел. Он спокойно прошел в своей котиковой шапке к воротам. Немного постоял, потом вытащил из кармана пачку папирос, щелчком выбил одну, пачку спрятал, а папиросу стал медленно вертеть в пальцах.

Кто он такой, как его зовут? Почему-то казалось невозможным, что его зовут просто, обычно, Юра, или Боря,

или Витя, и что еще сегодня он придет к себе домой, где у него отец и мать старики, которые даже не знают, где он работает, а может быть, есть и жена, и даже дети, которые идут в класс с тетрадями, и придут друзья, и еще вечером он с ними выпьет и забудет партию в козла.

— У вас горит плитка? — визгливо закричали из-за дверей.

— Какая плитка?

Это была Зоя Фортунатовна, маникюрша в тюрбане из полотенца, и будто ею выстрелили прямо из сумасшедшего дома, такие у нее безумные глаза.

— Смотрите, как вертится счетчик.

Она схватила меня за руку и потянула к счетчику. Он гудел и временами визжал, словно просил пощады.

— А-а! Это, наверно, Пищики включились!

И она убежала в своем тюрбане.

Сначала я разорвал телефонную книжку, потом вынул из ящика и стал рвать письма, фотографии.

Это уже было раз, тогда, на Чистых прудах, в 1937.

В тот яркий июньский день, горячий, обжигающий, когда комната была залита солнцем, в обещающий счастье день, я сжигал в черной голландке дневник трех матросов срочной службы, альбом, сшитый из гранок газетного срыва, где было смешное и опасное описание кубрика, непочтительный портрет старшины, и стихи, и эпиграммы, и карикатуры друг на друга и на все на свете, и фотографии трех мушкетеров в моряцких фланельках, клеше и бульдожьих башмаках, снятых вместе и отдельно, и в анфас, и в профиль, и с девочками-подружками, кудрявые головки, головки-перманент, ситцевые платица...

И вот все это с новой, непостижимой, ожесточенной силой началось в осенний октябрьский день сорок восьмого года, когда вдруг начались собрания, те долгие, ночные, прокуренные собрания, похожие на сон, на горячечный бред, после которых не хотелось жить.

...Небольшой, обшитый старинными панелями, с дубовыми потолочными балками зал был жарко, слепяще освещен

яркой люстрой. И я сверху, с сумрачных хоров, где всегда пересиживал собрания, недоуменно глядел в это душное многолюдство, на обилие седых и лысых голов. А на трибуне, качаясь, стоял с бледным, как клоунская маска, лицом кривобокий человечек и, заикаясь, но все еще громко, но все еще красиво, по-польски грассируя, пытаюсь сохранить достоинство и распаяясь по старой привычке, еще даже несколько высокомерно, несколько с преимуществом ума, с наглой, как многим показалось принципиальностью, сказал:

— Ленин нас учил...

И из президиума человек с голубой молодой сединой, медленно наливаясь кровью, закричал:

— Не кощунствуйте, пигмей!

И собрание ответило одобрительным гулом.

(Я еще не знал и не мог знать тогда, что придет день в этом же зале, под той же люстрой в траурной кисее и закрытых простынями зеркалах произнесут печальные и высокие слова, какой это был замечательный человек. А он, гордой крупной головой возвышаясь в красном гробу, установленном на длинном столе президиума, костяным лиловым отрешенным лицом как бы скажет: "Ах, это не имеет никакого значения".)

А я в те дни плакал во сне; мне, глупому, молодому, снились собрания, что меня прорабатывают и все от меня отказались и при встрече отворачиваются. Второй раз в жизни я готовился к этому. Я прощался.

И как тогда, в 1937, я думал, что, если это не случится, уйти на Волгу, в грузчики, в Нижний Новгород. Почему-то представлялась именно Волга и именно Нижний Новгород, а не Горький.

Так теперь, уничтожая бумаги, я думал, если только ночью не придут, уйти из квартиры, уехать, затеряться, жить со своими мыслями, с тем, что понял, и когда-нибудь написать об этом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я лег на кровать, и тот, стоявший на улице, сквозь стены смотрел на меня.

И все время было ощущение, что это сон. Ведь сколько раз мне снился этот сон, именно этот сон, и каждый раз я просыпался, и все было хорошо. Может, и теперь это сон, и просто я не могу проснуться.

Однажды этот мягкий вкрадчивый человек из отдела кадров мимоходом сказал мне загадочную фразу: "Тщательнее выбирайте своих ближайших друзей". И теперь я стал вспоминать всех своих знакомых и товарищей, и даже тех, которых видел только один раз в жизни, мельком, где-то на улице, в случайной кучке, вспомнил и того, в кепке с наушниками, со странным ноздреватым носом. Вот этот с ноздреватым носом сразу показался подозрительным.

И я поспешно и тревожно вспоминал, что я говорил и как он слушал, молчал или улыбался, и что скрывалось за этой улыбкой. И я каялся, и обливался потом, и проклинал себя, и давал клятву ничего больше не говорить. Господи, Господи, Боже мой, зачем, кому это нужно было. Если бы я его не встретил, не говорил, как все было бы сейчас хорошо...

Но все же, когда это началось? С каких пор я попал в их бинокль? И за что?

...Меня привели в маленький, тихий домик на околице, на крыльце бродили куры, в сених пахло дынями, молоком, медом.

За столом сидел похожий на ребенка батальонный комиссар в хорошо отглаженной гимнастерке, с двумя новенькими шпалами в петлицах и новой звездочкой на рукаве.

— Почему не по форме? — спросил он меня.

Он посмотрел на меня через стол, словно сквозь пуленепробиваемое стекло. Он смотрел на меня из того, другого, давно отошедшего от меня тихого мира, где еще не было бомбежек, и черных пожаров, и встающих из огня скелетов ангаров, и мычащих на дорогах недоенных коров, и гигант-

ских раздутых трупов коней. Он смотрел на меня из спокойного деревенского утра, в котором кричали петухи, цвели колокольчики и жужжали пчелы.

— Расскажите, как вы попали в окружение?

— Вместе с армией.

— Расскажите обстоятельства, как вы лично попали в кольцо?

— Я лично не попадал, я попал вместе с армией.

— Кто подтвердит? — он смотрел мне прямо в глаза.

— Я шел один.

— А чем питались, манной небесной? — батальонный комиссар усмехнулся.

Из боковой двери тихо вошел офицерик и принес на подносе стакан чая в серебряном подстаканнике и вафли на блюде. Он пододвинул к себе стакан чая и позвенел ложечкой. Потом вынул из ящика какую-то коробочку, достал таблетку, положил ее на язык и запил чаем. Проглотив таблетку, он прислушался к себе, и так он сидел несколько минут и прислушивался. И все это он проделывал, будто он был тут один.

— А партбилет где закопали? — спросил он.

— Я его не закапывал.

— Сжег?

Я вынул партбилет, красную мокрую книжечку. Он взглянул на фотографию, потом на меня, небрежно перелистал, осведомившись, уплачены ли взносы.

— Номер партбилета? — спросил он.

Я сказал.

— В каком году вступили в партию?

Я ответил и на этот вопрос.

— Где получали партбилет?

— В Киевском райкоме Москвы.

— На какой улице райком?

— На Смоленской-Сенной.

— Номер дома?

— Номера не знаю.

— Где вход в райком?

— С Глазовского переулка.

— Кто секретарь райкома?

— Не знаю, они менялись.

Он снова перелистал книжечку.

— С какой суммы платили членские взносы?

Я назвал сумму от и до.

— Почему тут стоит двадцать копеек?

— Это я тогда получал стипендию.

Он положил партбилет возле себя.

— А почему вы не застрелились? — он спокойно посмотрел на меня. — Коммунисты не сдаются в плен, — пояснил он.

— Я не был в плену.

— Советский человек приберегает последний патрон для себя.

Я смолчал.

— Был контакт с немцами?

— Один раз задерживали.

— Где, когда?

— На прошлой неделе, мы проходили деревню.

— Какую деревню?

— Названия не помню, на Полтавщине за станцией Ярьески. Мы проходили деревню...

— Кто это мы?

— Я и еще несколько человек, какой-то авиатехник.

— Откуда знаете, что он авиатехник?

— Так он сказал сам, и у него была летная форма, летная фуражка.

— Продолжайте.

— Так вот, был я, этот авиатехник, какая-то девушка и еще один боец. Мы проходили село. Я не хотел заходить в это село, мы стояли у крайней хаты, и я сказал: "Не надо", но авиатехник сказал: "Там нет немцев, разве вы не видите? В селе никого нет, мы разживемся хлебом, салом, попьем молочка". И мы пошли. А в это время из одной хаты вышли немцы.

— И они вас не расстреляли?

— Нет.

— А почему они вас не расстреляли?

Я пожал плечами.

— Не знаете?

Он внимательно поглядел в мое лицо. Я молчал.

— За вас ответило ваше молчание.

Я ничего не сказал.

— И вы хотите, чтобы я поверил вашей байке?

— Я говорю правду.

Он прицельно глядел в мои глаза, и я долго, и невыносимо, и бесконечно отвечал ему взглядом на взгляд, отражаясь в светлых зрачках. Наконец он устал или что-то решил про себя, и ему уже не надо было докапываться до чего-то там в моих глазах. И он стал перелистывать лежащие на столе серые, с фиолетовой машинописью страницы, будто там что-то было про меня.

— Какое задание получили?

— Они нас отпустили.

— Шифр, явка, связь? — быстро сказал он. — И не запирайтесь, лучше будет.

Я молчал.

— Как ушли из плена?

— Я не был в плену.

— Это мы уже слышали. Какое задание получили?

— Я вам сказал — не был в плену.

— Мы все равно про вас тут все знаем.

— Знайте что хотите, но я говорю правду.

— Вот тут все равно все известно, — он перелистал страницы, лежащие перед ним.

— Так зачем же вы спрашиваете?

— Закон, — сказал он, — юриспруденция. — Он подвинул ко мне чистый лист бумаги, чернильницу. — Напишите объяснение, подробно.

Я написал все как было. Пока я писал, он молчал, потом он прочитал с отвращением и пошел куда-то с бумагой.

Я сидел и смотрел в окно.

К крыльцу подъехал верховой, быстро соскочил и вбежал на крыльцо. Через минуту из дверей стали выбегать майор, потом капитан, несколько бойцов с пачками бумаг и бутылок.

ками чернил, подъехала повозка, и на нее погрузили пишущую машинку и венские стулья.

А моего батальонного все не было.

По улице проскочил, не останавливаясь, камуфлированный броневичок, и на его броню лежали два автоматчика.

Стало совсем тихо. В доме ни шороха. Я почувствовал что-то не то. Я встал и вышел в боковую дверь, куда батальонный ушел с моими бумагами. Там никого не было, валялись обрывки газет, сено. Дверь на заднее крыльцо была раскрыта. На огороде стояли чучела.

Я вернулся, взял свой партбилет, и вышел на крыльцо, и пошел по дороге, среди брошенных повозок, беспризорных лошадей с седлами и без седел.

— Мышки-норушки есть, на мышей не жалуетесь?

У дверей стояла женщина с крохотной красной мышеловкой, такой крохотной, что в нее бы ловить жуков.

— Мыша есть? Ловим, травим.

Я глядел на миниатюрную, какую-то трагедийную мышеловку и чувствовал себя в капкане. Эта комната всегда казалась мне западней, куда меня загнали и откуда уже нет выхода. Но каждый раз после собраний я уползал в эту ненавистную с масляными стенами узкую комнату, в эту чадную нору, набитую прусаками и клопами. Все-таки это была единственная нора во всем городе, а может, сейчас и во всем мире, где я оставался один, один на один с самим собой, со своей гложущей тоской и болью, удивляясь бессмыслице того, что делали со мной. И тут как-то отлеживался.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я взглянул в зеркало, и лицо показалось мне чужим, отдаленным, из какой-то другой жизни. Может быть, всегда так бывает, когда долго глядишь на свое лицо, оно кажется чужим. Вот этот нос, эти брови, эти глаза, эти уши, это — ты? Это ты и есть? Который вечно разговаривает сам с собой.

кричащий в себе, думающий в себе, каждое утро все перелопачивающий в себе, строящий новые планы и варианты и все остроумничающий в себе, все протестующий в себе. Сколько их, произнесенных речей, парирования, неуслышанных криков возмущения и боли, и тайных мыслей, никем не узнанных и похороненных, забытых навсегда.

Уговариваешь сам себя, жалеешь себя и мучаешься наедине с собой и все ждешь, и ждешь, и ждешь чего-то, все терпишь в этой надежде. В конце концов все стерпел. Ты и не заметил, как изменилось твое лицо, прозевал все изменения, привык к ним, примирился, и все тебе кажется, что ты тот же, что ты — это ты.

Неужели это я, тот, который гонял обруч по крутой Верхней улице: "Даешь Варшаву, берешь Берлин!", бежал с расхристанными книгами по длинной Гетманской улице в пятую единую трудовую школу, тот, который сидел под зеленой лампой и осторожно переводил переводные картинки, там в старом, веселом и грустном доме на Златопольской улице.

И я есть тот самый мальчик, который шел в пыльных, крикливых, безумных рядах и, поднимая дымящий керосиновый факел, орал: "Долой, долой монархов, равнинов и попов!" — и которому все было нипочем, трын-трава, пропади пропадом: "Мы старый мир разрушим, мы новый мир построим".

И это я приехал с Брянского вокзала и на подножке звенящего, дребезжащего трамвая по Бородинскому мосту, узким тесным коридором Арбата, через толкучку Охотного ряда выехал на Театральную, к белокаменному Большому театру, и вдруг мне показалось, что я уже тут был, что я, собственно говоря, всегда тут жил, все так было знакомо.

Потом это я, утопая, шел через болото Трубеж под немецкими мертвыми люстрами, и это я стоял перед собранием, а собрание выло.

Все это я. Я гляжу в зеркало и вечно узнаю и не узнаю себя. Сколько же жизней у человека, одна или девять, как у кошки, или тысяча, и тот маленький, кроткий мальчик в

матроске, и тот юноша в галифе и сапогах кажутся совсем чужими, посторонними. Они бегут, дергаются, кричат, машут руками, словно участвуют в старом-старом медленном фильме.

Словно сквозь ватную стену услышал я звонок телефона. — Это я, Аркадий, — закричали в трубку. — Ну, как, дышишь?

Я ничего не ответил.

— Понятно, — сказал он.

Мы оба помолчали.

— Есть новости?

Я снова ничего не ответил.

— Понятно, — повторил он.

Мы еще немного помолчали.

— Хорошие или плохие? — осторожно спросил он.

Я молчал.

— Понятно, — сказал он.

Электрическая тишина линии давила на нас тысячетонной силой. В трубке, казалось, дышал кто-то третий, будто жевал бутерброд с осетровой спинкой.

— Ну, адью, — сказал он и повесил трубку.

Я услышал короткие гудки. Я слушал и слушал. И тут вдруг меня окатило потом. Пистолет! Я не сдал его тогда, сразу в мае 1945 года, в сверкающем, ликующем мае, когда все было можно, все было позволено и казалось, вечно все будет можно и все будет позволено.

И шли дни и месяцы, я вспоминал и забывал, а может быть, жалко было его сдавать. А потом уже было поздно, уже вокруг была стена. Уже никак нельзя было прийти и сказать: "Вот!" — и протянуть пистолет. То же самое, что протянуть бомбу с догорающим фитилем и сказать: "Пожалуйста!"

Я достал бельевую корзину и стал выкидывать книги, газеты, старые носки, тряпье, мотки проволоки, на дне лежала сморщенная кобура. ТТ показался очень тяжелым, от него пахло кожей, старым лежалым железом, ужасной угрозой.

И в это время тройной стук в дверь и голос:

— Милиция.

Как шар, загнанный в лузу, забитый намертво колом, стоял я в углу не шелохнувшись.

Стук повторился.

Я накрыл пистолет газетой, и, словно лунатик по краю крыши, двинулся к двери, и не своей, как бы замерзшей чужой рукой снял крючок.

На пороге стоял милицейский капитан в новой фуражке и щегольской синей шинели, как-то особенно выглаженный, какой-то даже опереточный, словно из кинокартины студии юношеских и детских фильмов, и в комнате запахло "ландышем", а за ним — гражданский тип в мальчиковой кепочке на макушке, в мальчиковых ботинках.

— Здравствуйте, — капитан улыбнулся, и от этой улыбки еще шире волнами распространился в комнате запах "ландыша", а тот, что был за ним, выдвинулся, вынырнул из-за широкой, мощной спины капитана, в мальчиковой пестрой кепчонке, незначительный такой, вредненький, и сделал странное круговое вращение головой, словно сразу вобрал в себя комнату со всеми ее углами.

— Проверка документов, — сказал капитан, — паспорт, пожалуйста.

Я пошел к пиджаку, висящему на стуле и достал паспорт. Все было, как во сне.

Капитан аккуратно перелистал паспорт и заглянул на какую-то интересующую его страницу. Но она была чистая и непорочная

Кепочка небрежно оглядывала потолок.

— А кто тут еще живет? — сказал капитан, не выпуская паспорта из рук.

— Я один.

— А кто еще прописан? — спросила кепочка.

— Он же говорит, что один, — сказал капитан.

Кепочка небрежно оглядывала стены, и вдруг взгляд его задержался на столе с горбившейся на нем газетой "Известия" и таившимся под ней "ТТ". И казалось, от одного этого взгляда "ТТ" сейчас даст спуск, начнет стрелять в стены, в живот,

в ноги, куда попало, пока не разрядит всю обойму. Я осторожно следил за взглядом, пока не понял, что он, не отрываясь, глядит не на газету, а на крохотный, только недавно по комиссионному случаю приобретенный немецкий приемничек "Харнифон", ловивший весь мир на длинных, средних и коротких волнах.

— Трофейный? — спросила мальчиговая кепочка.

— Немецкий.

— И на всю катушку берет?

Я смолчал. Может быть, из-за приемничка, из-за этого чуда — "Харнифона", они явились, хотя я пользовался им осторожно, сугубо под вой радиоточки, передававшей "Запрягайте, хлопцы, коней", приблизивши к шкале ухо, пытаясь сквозь трехкратную забиваловку выловить информацию, ту раздражающую и все-таки ловимую русскую далекую речь, которая по тону, по придыханию отличалась от однообразного, дистиллированного голоса наших дикторов. Может, это ночное пиликанье, этот шорох и достиг ушей Свизляка?

— Игрушка зарегистрирована? — спросила кепочка.

— Еще не успел, я ведь только вчера приобрел.

— Вчера? — удивилась кепочка и покачала головой.

— Надо закон исполнять, — сказал капитан и усмехнулся, прямо одурманивая "ландышем".

— Правильно, правильно, — согласился я.

— Законы для этого и пишутся, чтобы их граждане исполняли, не вольничали, — все так же улыбаясь, сообщил капитан. — Ну, извините за беспокойство.

Он взял под козырек, и кепочка тоже неожиданно приложила два пальца к виску, и они вышли в коридорчик, я услышал стук в соседнюю дверь.

— Милиция.

Почему они явились именно сейчас, это случайно или они связаны с тем, который ждет меня на улице. Что, они хотели проверить, дома ли я? Все шито белыми нитками, нельзя же так грубо работать. А может быть, это действительно случайно, может быть, это совпадение? И я усложняю. Но почему именно сейчас? Почему такое роковое совпадение? Или мне так везет? Нет, это, наверно, случайно. Ведь они пошли в другие

комнаты, они и там громко спрашивали документы, но как-то лениво, нехотя, каким-то нарочным голосом.

Я смотрю на телефон, мне кажется, кто-то в нем поселился, и смотрит на меня, и слушает мои мысли.

Звонок, еще, и еще, и еще, и еще.

Я поднял трубку.

- Да-а-а!

Никто не ответил. Я прислушался. Гудело пространство.

Проверяют, дома ли я.

Я выглянул в окно. Мой стоял у ворот и курил. Выкурил папиросу, он бросил ее щелчком в урну, утер рукавом нос, потом подтянул штаны, повернулся и спокойно пошел к телефонной будке.

В будке медленно набрал номер, обождал, пока ему ответят, и потом что-то долго, спокойно и серьезно говорил. Выкладывал ли он начальству свои наблюдения, умозаключения или, может, тете рассказывал о своих детях, какие отметки получили; он что-то послушал и повесил трубку. Затем набрал еще какой-то номер, и на этот раз сразу же стал смеяться, и все время, пока разговаривал, смеялся. Рассказывали ли они друг другу анекдоты, или вспоминали что-то свое, очень веселое, или просто трепались, а может, он рассказывал обо мне, и это было так забавно, что его разбирал смех.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Затухающий свет зимнего дня медленно, как сквозь сито, цедился в заляпанное грязью проезжавших машин, да еще к тому же промерзшее окно.

Мой не отходил от ворот, и я продолжал его наблюдать.

Вот он повернул руку, приложил часы к уху, послушал и медленно стал заводить, обнаруживая спокойный, несуетливый характер. Я даже издали мог посчитать, что он прокрутил тринадцать раз. Закончив завод, он снова послушал часы и на некоторое время успокоился.

Неожиданно он отклеился от ворот, оглянулся и быстрым, энергичным шагом дошел до угла и таким же быстрым шагом

вернулся к воротам, и снова до угла, и назад, и опять неподвижно стал у ворот, слился с грубым суриком.

Теперь он очень внимательно смотрел на свои боты. Сначала он изучал правую ногу, а потом левую, потом поставил их рядом и окинул общим взглядом. Может, неудобно, неуютно, тесно в новых казенных ботах? Ведь там, в том хозотделе или магазине, где он их получал, не особенно придирчиво примеривают.

Он снял перчатки, и подул на пальцы, и затем заложил руки в рукава, согревая их собственным телом, и так стоял долго, не шевелясь, весь уйдя в свое тепло.

Я выглянул на черную лестницу. Было тихо, холодно, накурено.

На средней площадке стояли два подростка в кепочках-бескозырках, пытели сигаретками и молчали.

— Сколько сейчас, три? — спросил один.

— Три, — ответил второй.

— У, твою мать, — откликнулся первый.

И опять была тишина.

Я снова лег на кровать. И все видел наяву.

... Поезд остановился в открытом поле, и оно показалось чужим и каким-то растерянным. Не было ни знакомого желто-кирпичного вокзала моего детства с залами первого и второго класса и большим колоколом, ни круглой водокачки, ни длинных темных пакгаузов, ни даже перрона. Все было разрушено войной. И стояла только на запасных, ржавых, заросших травой путях красная теплушка, над которой торчал одинокий флагшток.

Теперь на этом вокзале никого не встречали, и не было даже ни одного извозчика, пассажиры прямо из вагонов темной толпой хлынули через пути, и поспешно, будто боялись остаться на разоренном вокзале, разбежались во все стороны, и стало пусто и одиноко, лишь ветер шумел в станционных тополях. И я долго стоял и слушал их, внимал их шуму, и, казалось, они узнали меня и рассказывают обо всем, что видели и слышали.

И лежали длинные, пустые, беззвучные улицы, так же вился хмель по заборам и плетням, так же цвели подсолнухи, и глядели из палисадников анютины глазки. И, казалось, не было во всем этом жизни, или это я уже тут был чужой.

В центре города вырос бурьян, и радио орало над пустырями. Весь город шел по разоренным улицам с тяпками на пригородные огороды.

Некогда просторная, знойная, пыльная площадь Свободы, площадь манифестаций, теперь заросшая кустарником и молодыми деревьями, полна была непонятого, сидящего на траве разношерстного люда.

Сначала я подумал, что тут допризывный пункт и все эти пожилые женщины и старики провожают молодых солдат. Но какой-то угнетенный, сдержанный, тоскливый гул стоял над этой, расположившейся на площади, странной, темной толпой. Может быть, это были заключенные, но к ним почти свободно подходили из-за ограды, передавали узелки, переговаривались. Вербованные? Но зачем, при чем тут вооруженная охрана?

И вот сразу одновременно в разных местах, на разные голоса повелительно, грозно, просяще:

— Становись!

Люди нехотя, лениво поднимались, скапливались как-то по-семейному, самовольно, разгильдяйски, в странную колонну, вольную и не вольную.

— Живо! Шевелись!

Тот, кто поднимался с земли и становился в колонну, и тот, кто поднимал их, в порыжелых пилотках с винтовками, были на одно лицо, так похожи друг на друга, что казались из одной семьи.

— Тунеядцы, не хотели работать.

— А сколько им давали на трудодень?

— Палочку, и все.

Это было так нарочно, нелепо и нежизненно, что, скорее, похоже было на киносъемку дурного фильма.

Густая колонна, затопившая старую Киевскую улицу, медленно передвигалась, серая, арестованная, а по сторонам, прижимаясь к стенам домов, и сзади, и спереди, отгоняемые

конвойными, шли родственники; жена, если муж был в колонне, и муж, если жена была там, сын или дочь, если отец или мать были в той колонне, или мать и отец, если сын или дочь уходили колонной.

И все это перекликалось, переговаривалось, гудело о своих делах и заботах, посылало приветы, жалело о разлуках, сообщало новости и кричало последние слова. И на все это глядели из окон, из подворотен домов и учреждений. Сопровождавшие то перегоняли колонну, чтобы посмотреть в лица идущим и что-то крикнуть им, то отставали и плелись сзади, и тогда тот, кто был в колонне, оглядывался: тут ли они еще. Кто-то неожиданно забегал прямо в колонну, что-то передавал, что-то быстро говорил, целовался и под крик конвойного выбегал на тротуар.

Долго я шел за этой нестройной, разношерстной колонной, спотыкаясь о булыжники, мимо школы, в которой учился, мимо типографии, где состоял в пионеротряде, мимо знакомых крылечек, мимо пустыря, на котором играл в лапту и чехарду, по Курсовому полю, мимо кладбища, на котором лежали похороненные дед и бабушка, и вышел на железную дорогу, где на запасных товарных путях ждал длинный состав из красных теплушек, и конвойные стали загонять людей в вагоны.

Я пошел назад, и какая-то девица в платке все забегала вперед, заглядывая мне в лицо, потом отставала, а когда я останавливался и смотрел на знакомые домики, на косые окошки, иногда вытаскивая блокнот и записывая впечатления, то и она останавливалась и тоже смотрела на эти домики, а потом на меня, отдельно на блокнот и как-то нервничала. Я уже хотел спросить ее, не узнала ли она меня, но вдруг она исчезла.

— Гражданин, на одну минуту, — сказал сзади голос.

Старший лейтенант и знакомая мне девица подошли ко мне.

— Он? — спросил старший лейтенант.

Девица взглянула на меня своими странными, пронзительными сливовыми глазами.

— Порошкова, посмотрите внимательно, — сказал лейтенант.

У нее были глаза отравленной кошки.

— Он, гражданин начальник. Точно.

— Посмотрите хорошо, Порошкова, не ошибитесь.

На моих глазах разыгрывался самодеятельный спектакль. Эта неведомая мне Порошкова играла роль наседки. Она снова посмотрела на меня своими паническими глазами.

— Его я видела на базаре, его, — взвизгнула она.

— На каком базаре, в чем дело, ничего не понимаю? — сказал я.

— Вчера, на ярмарке, а? — и она неожиданно подмигнула мне.

В своем светлом чешском пыльнике и шляпе я вдруг почувствовал себя чужаком, шпионом, лазутчиком на этой пыльной, тихой, заброшенной улице, у трех тополей, под которыми я играл в "Принца и нищего", где еще кажется, сохранился след моих босых ног.

— Так это вот мой дом, — сказал я.

— Вы тут живете?

— Жил.

— Когда жили?

— Давно.

— Документы.

— А в чем дело, что случилось?

— Что надо, то и случилось, — сказала Порошкова.

А лейтенантик был молодой, серолицый, с тревожными, безответственными глазами.

— Документы, документы, — проговорил он, не желая ничего слушать и объяснять.

— Что, у меня вид подозрительный? — спросил я.

Он и на это не ответил, продолжая изучать меня своими бдительными глазками.

Я подал ему свою командировку.

— Разверните, — сказал он, как будто боясь занять свои руки разворачиванием бумажек.

Лейтенантик долго читал удостоверение, прочитал, взглянул на меня, как будто сверяя содержание бумаги с впечат-

лением от моего лица, потом еще два раза перечитал удостоверение, сложил его, но не отдал, а спрятал его в верхний карман своей гимнастерки и сказал:

— А блокнот где?

Я показал блокнот.

— Пройдемте.

Отравленные глаза Порошковой вдруг зацвели детской радостью.

— Куда пройдемте? — спросил я.

— Куда надо, туда и пройдемте, — сказала Порошкова.

— Порошкова, замолчите! — прикрикнул лейтенант.

Он обождал, пока я пройду вперед.

— Простите, товарищ, проверочка, — уже спокойно сказал он.

Прохожие останавливались и смотрели на нас.

За дверью кто-то шушукался. Потом хихикнули. Через некоторое время постучались. Все сегодня было как-то таинственно и странно или это так всегда, и я только не замечал.

Я тихо подошел и приоткрыл дверь. Там стояли девочка и мальчик в пионерских галстуках поверх шубенок, у них были панические лица.

— Дядя, у вас есть пузырьки? — звонко спросил мальчик.

— А зачем вам пузырьки?

— Мы соревнуемся, — гордо сказал мальчик.

— И еще газеты старые, книги ненужные, бумага, — зашептала девочка.

— Мы собираем утильсырье, — сообщил мальчик.

У обоих были испуганные и гордые лица.

Я вынес им большую кипу газет и журналов. Когда они сходили по лестнице, они смеялись:

— У, — сказала девочка, — теперь мы выйдем на первое место.

А у Монаткиных разгорался скандал.

— Кто ты есть? — кричала жена.

— Архив нечего поднимать, надо смотреть вперед, — отвечал Голубев-Монаткин.

— Куда вперед? Тебе шестьдесят лет, впереди — могила.

— Я из-за тебя остановился в своем развитии, — упрекал Голубев-Монаткин.

— Не маскируй своего хама. Я вот больна, у меня грипп. Голубев-Монаткин захохотал.

— Грипп от мировоззрения, вирус врачи выдумали.

— Я за свою жизнь твою структуру трепача изучила, — грустно проговорила жена.

— Я с семнадцати лет советскую власть завоевывал, вы еще недостойны меня.

Голубев-Монаткин хлопнул дверью и вышел в коридор.

Я сказал: "Здравствуйте", он на меня взглянул, пожевал губами и, усмехнувшись, не проронил ни одного слова, ушел своей крепенькой походкой, стуча по железным ступеням подковками белых бурок, высоко неся свое строгое, суровое лицо, отражающее его партийный стаж и заслуги.

Я тронул батарею парового отопления, она была ослепительной, и я тотчас же почувствовал духоту невыносимую.

Я влез на стол и открыл форточку. Я уверен был, что он знает мое окно и сейчас увидит, что я открываю форточку. Да черт с ним.

В комнату ворвался ледяной ветер со снегом, и я вдыхал и вдыхал жадно, неутолимо. И постепенно мне как-то становилось легче, спокойнее, словно я пил силу, отчаяние. Черт с ним, черт с ним, черт с ним...

Я как-то осмелел, все показалось не таким мрачным, безнадежным и конченным.

И в это время резко, дико, как-то взвизгивающе зазвонил телефон. В жизни я не слышал такого тревожного, требовательного звонка.

— С вами сейчас будут разговаривать, — дотянулся откуда-то издали жалобный женский голос. И вслед за этим вдруг отбой, частые-частые гудки.

Теперь я стал раздумывать и мучиться, кто же это был, секретарша или телефонистка. Зачем, кому я нужен был? Кому понадобился, кто вспомнил обо мне в этот дикий, смутный день и час моей жизни? Или, может быть, в каких-

то списках, где я еще состоял, против моей фамилии не было галочки? Надо было срочно поставить галочку. Снова телефон.

— Не отходите от трубочки, сейчас с вами будут разговаривать.

И вслед за этим далекий, милый голос Кати, она говорила из загорода.

— Это ты мне звонила несколько минут назад? — жадно спросил я. — Ты, да?

Я сразу как-то успокоился, сразу как-то включился в мир, где есть люди, есть сестры, братья, любимые, где столько голосов, шепотов, интонаций, где есть вопросы и ответы, достоинство, терпимость, уважение. Все это еще есть? Еще есть?

— Ты что, спал? — спросила она.

— Нет.

— А почему у тебя голос такой странный? Ты болен?

— Нет, не болен.

— Я голоса твоего не узнаю, это ты?

— Я, я.

— Ну, что такое с тобой, что стряслось?

Я молчал.

— Что ты молчишь? Что случилось?

Я как бы все время чувствовал в телефоне третьего человека, казалось, разбирал его дыхание, его внимание.

— Нет, ничего не случилось.

— Не нравится мне твое настроение. Я сейчас к тебе приеду.

— Не надо.

— Нет, я приеду.

— Я прошу тебя.

— Но мне нужно к тебе приехать, — сказала она.

— А в чем дело?

Теперь она молчала, и я спрашивал.

— Что случилось?

— Этот разговор не для телефона.

— У тебя что-то случилось? Да?

В ответ — ку-ку, ку-ку, ку-ку... И непонятно было это — она повесила трубку или разъединил тот, третий, и стало еще тревожнее.

Сначала я исчезну из домовой книги. Сам домоуправ, не доверяя девице-делопроизводителю, молча перечеркнет меня крест-накрест и, усмехнувшись, забудет. Нет, не выбыл, не переехал на другую квартиру, в другой город и даже не умер, просто никогда не был, случайно затесался в домовую книгу.

А потом вычеркнут из всех списков, где состоял и против фамилии аккуратно ставились галочки: членские взносы, нагрузка, собрания, семинар; где получал выговоры с занесением и без занесения в личное дело. Исчезнет и само личное дело.

И только, может, еще в библиотеке долго будет пылиться абонементная карточка, а потом и она исчезнет, навсегда забудут, исчезнут сведения, какие книги любил и читал, чем в жизни интересовался — неоромантизмом или неореализмом...

Я видел жизнь после себя, вторую, третью и десятую серию, которую еще никто не снимал. Однажды утром или в полдень придут представители с портфелями, и с ними домоуправ, и дворник, и понятые из соседей, срежут на законном основании печать, распахнут двери в затхлую комнату и долго, и тщательно будут переписывать вещи, выкликая: "кресло подержанное... матрац подержанный, лампочка электрическая, 100 ватт"...

Тренькнул телефон, и я сразу схватил трубку, словно она могла меня спасти, могла помочь выплыть.

— Говорит Алла из парткома. Вам известно, что вы агитатор?

— Да, да, я знаю, обязательно, я болен, я сегодня болен, завтра приду, обязательно приду, конечно, Алла. Что, я не понимаю?

А день все длился и почему-то не кончался, глядя в окна желтизной вечеряющих облаков. А потом зимние сумерки, как чернила, пролились по небу и сгустились во мглу, и вспаленно засветились фары. Улица то заполнялась потоком машин, которые обгоняли друг друга, шли грохочущей

железной лавиной, то вдруг сразу точно обрубали топором, пустела, и тогда становилось так тихо, что слышно было, как на кухне стучат ножами, отбивая котлеты, потом, как приближающийся водопад, железный грохот, и снова улица до краев наполнялась машинами, которые подступали к самым окнам, и всегда среди них была хоть одна похоронная, с черным крепом по бокам.

Я спустился по черной железной лестнице, замызанной картофельной шелухой, и толкнул тяжелую наружную дверь. И сразу же мелькнул черный котик, и, как вспышка, близко его бледное, замученное беспокойством, пухлое лицо, пронзительные глаза и мокрые от снега ресницы.

Мне показалось, что от неожиданности он хотел сказать: "Здрасьте", но передумал, и неловко, как раненый кролик, прыгнул в сторону и заметался. Мне стало его жалко, хотелось сказать: "Ничего, ничего". Я прошел мимо, не обращая внимания.

Интересно, как он узнал, что я именно в этом подъезде, ведь, когда я входил во двор, он торчал на той стороне улицы. Может, уже был в домоуправлении, разузнавал и нашел по словесному портрету.

Интересно, что он уже знает про меня? Что наговорили ему и что он должен донести?

Я встал в очередь на троллейбусной остановке. Подошел троллейбус, все сели. Я остался. Троллейбус тронулся, и я пошел дальше, скрылся в толпе, не оглядываясь, и в глаза все лез неоновый лозунг на крыше: "Коммунизм — это молодость мира".

Котиковой шапки не было видно, так что я немного отдохнул в толпе и стал постепенно выбираться. И когда наконец толпа меня выдавила и я оказался на просторе, я боялся посмотреть в ту сторону, где мраморная колонна, я чувствовал что-то неладное, но я все-таки взглянул туда, и тогда что-то быстрое, ловкое и хищное спряталось за колонну. Я заметил только верх черной шапки.

Тогда и я шмыгнул за колонну и оттуда наблюдал за ним. Он оглянулся и вдруг не обнаружил меня, поглядел в другую сторону и снова не нашел меня, и я увидел, как он заволновался, закрутился в водовороте, разыскивая меня, и медленно стал заходить за мою колонну. И тогда я перешел на другую сторону. Это было похоже на игру в кошки-мышки.

Наконец я вышел из-за укрытия, и он увидел меня, открытого и беззащитного, и приклеился к колонне, чтобы не выдать себя.

"Ну, подойди, — крикнул я ему беззвучно, — иди, иди на людях и скажи все, и я скажу тебе все. Пусть все увидят и узнают, пусть все идет к черту, и пусть кончится все сразу".

Вся ненависть обратилась на него, на его бледное лицо, на его замученную заботливостью. Вот сейчас в толпе пробраться к нему, схватить за горло, закричать, позвать народ, расплакаться: "Ты чего хочешь? Зачем ходишь за мной?" Но между нами лежала пропасть — тайна государства, и не мог я с ним разговаривать, как человек с человеком.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Нет такого закону! — кричали в коридоре.

— Есть, есть. Ты пьяница отвратный, червивый.

Пищики в очередной раз выселяли своего зятя.

А зять бил себя в слабую, впалую грудь и визжал:

— Я советский человек, я по конституции живу. А вы!

— А что мы? — пьяно надвигаясь на него, спрашивал старший сын, черный, кучерявый, страшный, и вел его, как цыпленка, за шиворот, и потянул на лестницу. И он, как паяц, перепрыгивая на длинных ногах через несколько ступенек, снизу кричал:

— Я по конституции...

— Иди, иди... диспансерный.

Айсорская ребятня выкатывалась из комнаты в коридор сплетенным клубком, непонятно было, где ноги, где руки, мелькали только черные кучерявые головы, и все это, царапаясь и визжа, снова клубком вкатывалось в комнату.

- Уймите их, — приказал Голубев-Монаткин.
- Товарищ, дети — цветы жизни, — отвечал один из Пищиков, как две капли воды похожий на других.
- Вы нарушаете элементарные правила социалистического общежития, — серьезно сказал Голубев-Монаткин.
- Точно, профессор, — ответили ему.
- Вы опять пьяны.
- На твои гроши, профессор.
- Нет, я это так не оставляю, — сказал Голубев-Монаткин.
- Действуй, профессор, делай.
- Вы нарушаете основные правила социалистического общежития, — повторил Голубев-Монаткин.

Где-то внизу громко и нагло хлопнула дверь. Это пришел Свизляк.

Он поднимается по черной железной лестнице, стуча подковками, стуча палкой, и вся квартира знает, что пришел Свизляк, а затем он открывает ключиком дверь и так хлопает ею, что звенят стекла и дребезжат перегородки, и тогда и глухие, а их трое в квартире, тоже понимают, что явился Свизляк.

Вот он изнутри из своей комнаты открыл дверь, и вошел в маленький, темный коридорчик, и задышал, засопел, заворочался. Вот щелкнул выключатель, и он шумно снял свою собачью куртку и повесил ее на гвоздик у самой моей двери, и у меня было чувство, что на грудь мою он повесил свою псиную куртку.

Вот он открыл дверь в кухню и подпер ее палкой. И я сразу почувствовал запах капусты, жареной рыбы, мокрого белья и кипение кастрюль.

Свизляк стал у раковины и стал умываться, отфыркиваться, стонать, казалось, там купается носорог. Потом он ушел и оставил дверь раскрытой, и я услышал из кухни:

- Приходят, а они хлещут французский коньяк из бокалов Гитлера.
- А где они взяли эти бокалы?
- Они все достанут, травили детей, разбойники.

Я выхожу и осторожно, тихо закрываю дверь. Но Свизляк будто караулит:

— А зачем вы ликвидируете вентиляцию?

— Дверь на кухню должна быть закрыта, — говорю я.

— А кто вы такой, чтобы давать руководящие указания?

Любочка тоже возражала. Она вошла в спор осторожно, покорно, как ночная бестелесная бабочка, и еле слышно прошелестела:

— Я тоже прошу закрывать дверь.

Но Свизляк услышал ее и на девяносто градусов обернулся на этот шепот.

— А почему вам так активно не нравятся открытые двери, вам есть что скрывать?

Любочка покраснела, потом побледнела и ничего не могла вымолвить.

— А известно ли вам, что при коммунизме все будут жить с открытыми дверьми, и никакой личной собственности не будет, и никаких личных секретов от общества?

Любочка молча кивнула головой в знак понимания и согласия с этой перспективой.

— Или, может быть, вы возражаете против высшей фазы коммунизма? — несмотря на ее согласный кивок, предположил Свизляк.

Любочке хотелось закричать во весь голос, что она вполне согласна, что она приветствует высшую фазу, она ей тоже очень нравится, но, поскольку она еще не наступила и на дворе пока еще стоит переходный период, она бы предпочитала воспользоваться хотя бы этим преимуществом периода, одеваться и раздеваться, жить и дышать за закрытой дверью, а не на бесстрашных глазах Свизляка, но она нашла в себе силы только приложить руки к груди и еле слышно прошептать:

— Как вы могли так подумать, Фрол Порфирьевич.

— А то я смотрю, — сказал Свизляк и еще шире раскрыл кухонную дверь, подперев ее дополнительно чурбаком. — А вас я давно уже что-то не понимаю, — с сожалением обратился он ко мне.

— А что вы не понимаете?

- В какой системе вы работаете?
- Я сам себе система.
- То есть как? Вроде частного хозяйчика?
- Да, вроде кустарного предприятия.
- Свизляк покачал головой и усмехнулся.
- Но для какой-то организации все-таки работаете?
- Для какой-то да.

Свизляк очень внимательно взглянул мне прямо в глаза, и в зрачках его вдруг пробежала испуганная искорка. На секунду, на одну только секунду он подумал про меня: а может, я оттуда? Но он быстро откатил эту мысль.

— Тут что-то не так, — сказал Свизляк. — Все в системе, одни вы вне системы.

- Занимайтесь своими делами, — сказал я.
- А я, между прочим, народный контроль.
- У себя в учреждении.
- При советской власти каждое учреждение — мое учреждение.

- Слушайте, мне не хочется сейчас с вами разговаривать.
- Это я не хочу с вами разговаривать. Идите в свою комнату. Еще неизвестно, чем вы там занимаетесь.
- Я печатаю фальшивые купюры.

Свизляк раскрыл рот и с ужасом посмотрел на меня.

— Вы это даже в шутку не говорите, — тихо и серьезно сказал он.

Я взглянул на него и понял, что он сегодня об этом объективно напишет куда надо.

Бонда Давидович, стоявший у плиты над своей кастрюлькой, засмеялся, но Свизляк так на него политически взглянул, что тот осекся.

— Конечно, всякий политически сомнительный человек, — начал Свизляк, но в это время почтальон принес "Вечернюю Москву", и Свизляк, приняв газету, сказал:

— А вы, Бонда Давидович, я вижу, не интересуетесь текущей политикой.

Но кларнетист как будто и не слышал, стоя над своей кастрюлькой в ожидании, пока закипит, и молчал.

— Вся страна на лесах, — продолжал Свизляк, разворачивая газету "Вечерняя Москва", — на субботах, воскресниках, а вы даже за похороны берете мзду, за смерть.

— Не трогайте меня, — тихо сказал Бонда Давидович.

— Вы индивидуалист, вот в чем дело, а мы отвергаем индивидуализм и дуализм, между прочим, тоже, — прибавил Свизляк.

Бонда Давидович заткнул пальцем уши:

— Не приклеивайте мне ярлыки, я ничего не хочу слушать, я честный советский человек.

— Это ты-то советский человек, ха! — сказал Свизляк.

— Не говорите мне "ты", я с вами свиней не пас.

— Ты ведь аполитичный человек, — продолжал Свизляк, — а кто не с нами, тот против нас.

— Не смейте мне тыкать, — визжал Бонда Давидович.

— Ты шахер-махер, вот кто ты такой.

— Не смейте прикасаться ко мне! — вскричал вдруг голосом ущемленной кошки Бонда Давидович и запрыгал на тонких своих ножках, и свободно висящие штрипки кальсон ударили по галошам.

— Вы зачем кричите? — спокойно сказал Свизляк. — Зачем привлекаете внимание?

— Вы... вы... — захлебнулся Бонда Давидович.

— Поговорим в другом месте, — сказал Свизляк.

— В другом месте? — закричал Бонда Давидович. — Пожалуйста, — и распахнул пальто, раскрывая рубаху на голой волосатой груди, будто безжалостно подставлял ее под пули, — я готов.

— Ну, ну, интеллигент, не психуйте, — сказал Свизляк, — на крик не возьмете.

— Прочь с дороги! — закричал Бонда Давидович и, схватив свою кипящую кастрюльку, пошел, высоко поднимая ноги, будто переступая через лужу. Глаза его горели, и он шел напролом, и огромный верблюжий Свизляк отшатнулся в сторону.

Не думал я, что доживу и увижу его смерть. Мне все казалось — он вечен.

Когда он умер, его собачья куртка долго еще висела на крючке в коридоре за дверью, пока ее всю не съела моль, и однажды от нее поползли полосы шерсти, и она рассыпалась в прах, как и многое другое, некогда казавшееся вечным и незыблемым.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я не верю своим глазам, я сошел с ума, или улица сошла с ума, или этот у ворот совсем не тот, за кого я его принимаю. Я ясно вижу, как он мелко, но явно, быстро и ловко, почти профессионально выбивает чечетку, я почти слышу стук каблуков. Что, ему стало вдруг очень весело, или забрел к нему по дороге мотивчик, или он просто взбадривает, взбалтывает себя, дает себе ритм.

Я гляжу и не могу насытиться, наглядеться на его перебирающие ножки. Хочется смеяться и плакать. Ведь и он мог бы быть человеком.

А может, в свободное от работы время он играет на баяне или на балалайке по самоучителю, может, он даже поет тенором, может, он укачивает ребенка в коляске: "Баю-баюшки-баю". Да, баю-баюшки-баю. А потом жрет водку и закусывает солеными огурцами. А по воскресеньям едет на рыбалку, сидит с удочкой и глядит, глядит на поплавок, до ряби в глазах. Или, может, надоело ему созерцающее занятие, опротивело до тошноты, и у него, наоборот, активный отдых — на бегах, в пульку.

И он ведь некогда был мальчиком, учился в школе, бегал с клеенчатой сумкой в городе или по деревенской проселочной дороге, зубрил таблицу умножения на обложке тетради по арифметике, писал сочинение "Образ Печорина".

Вот он вытянул из кармана пальто носовой платок, крупный, как косынка, и, закрыв почти все лицо, стал сморкаться. Мне кажется, я даже слышал, как он чихает. Потом он о чем-то подумал, помедлил и вдруг совершенно неожиданно, спокойно завязал край платка узелком на память. Милый мой, хороший...

По доброй ли ты воле пошел на эту работу, так сказать, по зову сердца?

Пошел снежок и быстро выбелил его, и в проеме ворот он как бы выделился и стал заметен, и люди, пробегая, иногда оглядывались и смотрели на него. И тогда он сдвинулся с места и пошел.

Теперь он играл гуляющего человека, пришедшего домой после смены, рабочего человека, гуляющего возле своего дома, под сосульками, сверкавшими в свете фонаря, заложив руки за спину и сдвинув котиковую шапку на затылок.

— Комиссия содействия! — объявили за дверью.

На пороге — сияющая, с лицом калорийной булочки, пахнущая духами Зоя Фортунатовна с фальшивыми бусами, за ней непричесанная, заспанная, в пуху, будто вынутая из перины Ворончихина и еще сзади в шубке с шалью лилипут с первого этажа, заменяющий постоянного члена комиссии.

— Снимаем показания счетчика, — предупреждает Зоя Фортунатовна.

Подняли на руки лилипута к счетчику, чтобы и он удостоверился. Лилипут нацепил очки, вгляделся и кивнул головой.

Счетчик катастрофически щелкал и искрился, цифры выскакивали, прыгая как сумасшедшие. Вдруг счетчик начал тарыхтеть и содрогаться, и, казалось, еще мгновение — и он сорвется со стены и полетит по кухне кругами, как электрический гробик. Комиссия стояла, оцепенев от изумления и возмущения.

— Несчастный счетчик, несчастный счетчик, — бормотала Зоя Фортунатовна, поглядывая на черную коробку, словно на себе чувствуя его нервное напряжение, его высокое давление, и у нее от этого разболелась голова.

— Это Пищики, — единогласно решила в полном составе комиссия и в полном составе двинулась к айсорам.

Странное, загадочное сжигание лимитов всегда сваливали на айсоров, то ли потому, что их было так несметно много, словно электрический ток шел в пищу, то ли потому, что

они были так темпераментны и для этого требовалось много энергии, или вообще потому, что от них всего ждали. Непонятно только, почему так молниеносно перегорал лимит, что они делали там с электричеством в своей зале с лепным потолком и жирными амурами рококо на стенах, подключали адский котел и варили какое-то варево, снадобье, которое требовало столько электрического тока, сколько блюминг?

— Прошу немедленно составить акт, — встретил в коридоре комиссию Свизляк. Он стоял у раскрытой двери Бонды Давидовича.

Комнатенку Бонды Давидовича всю занимала большая семейная никелированная кровать, и именно она была подключена к сети, и зеркально никелированные шарики светились, а Бонда Давидович храпел в никелированном скафандре, как в люльке, с электрическим нимбом вокруг головы.

Его грубо разбудили и вынули из электрического сна, и, сонный, теплый, он ничего не понимал и так качался, что его прислонили к стене, дабы он не упал.

— Я просыпался от грохота счетчика, теперь-то я наконец понимаю, почему я просыпался, — говорил Свизляк. — Даже мой каменный сон нарушался, даже моя классическая терморегуляция.

— Еще надо посмотреть, неизвестно, что он там еще такое подключал, — высказался Голубев-Монаткин, глядя на то, как Бонда Давидович в кальсонах со штрипками ходит по комнате.

— Диверсия, — определил Свизляк, — да, да, в размерах коммунальной квартиры я имею право квалифицировать этот факт как диверсию.

А Бонда Давидович стоял одинокий в своем электромагнитном кругу и спросонья не понимал, что от него хотят, и несколько раз перекаладывал или просто инстинктивно прятал свой кларнет, на который теперь тоже все смотрели подозрительно, как на незаконное оружие.

— Зачем вы меня мучаете? — сказал Бонда Давидович.

— Это кто вас мучает? Это мы вас мучаем? Вы слышите, мы его мучаем! — восклицала Зоя Фортунатовна. — Он сжигал весь электрический лимит, он лишал нас современной цивилизации, а мы его мучаем.

— Диверсия, — упорно настаивал Свизляк.

— Все это не случайно, — искал корни Голубев-Монаткин. — Типичный представитель, взбесившийся мелкий буржуа, мы в свое время таких субчиков ставили к стенке без актов, по законам революционной необходимости.

— Караул! — вдруг закричал Бонда Давидович так, что все отшатнулись. — Оставьте меня в покое, я в трансе. — Он схватил свой кларнет и стал им размахивать, как топором. — Я сейчас все разнесу в щепы, я сейчас пошлю вас к Леонардо да Винчи.

— Это тоже надо запротоколировать, — сказал Свизляк. — И по поводу Леонардо да Винчи, оскорбление нецензурными словами.

Дверь захлопнулась, и все услышали, как два раза повернули ключом.

— Что он там делает? — вскричала Зоя Фортунатовна. — Я знаю, что он делает, он из провода делает петлю и повесится.

Все притихли.

— Сбрэндил, — определил приходящий муж тети Саши.

— Диверсия, — настаивал Свизляк, — симуляция психом. Нас на это не возьмешь, нас не разжалобишь, мы не такое видели в эпоху военного коммунизма. А сейчас, слава Богу, построен фундамент.

— Почему же фундамент? — медленно протянул Голубев-Монаткин. — Фундамент был построен еще в тридцатые, в первую пятилетку, а сейчас полное общество.

Началась обычная политическая пикировка, больше похожая на перестрелку, пахнувшая доносом и последствиями. И Розалия Марковна быстрее всех ушла в свою комнату, в свою крохотульку и закрыла дверь на ключ, оставив ключ в замочной скважине, чтобы никто не мог сказать, что она слышала что-то политически спорное.

А Свизляк ходил по коридору, останавливался у ее дверей, и куражился, и высказывался, и уже не о высшей фазе, а насчет их нации и наций вообще.

Только одна дверь не шелохнулась. Айсоры спали своим устрашающим усталым табором. Им снились сны поважнее всего происходящего в коридоре, и им некогда было заниматься пустяками.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я проснулся вдруг, будто кто-то изнутри меня толкнул. В комнате, в свете окна темной тенью стоял человек.

— Что? Кто? — крикнул я.

— Вы стонете во сне. Я думала — вы заболели.

— А как вы вошли в комнату?

— Через дверь, — тихо отвечала фигура.

— Сколько сейчас времени?..

— Только восемь.

На пороге стояла отставная опереточная актриса, крупная, костлявая, похожая на старую, выработавшуюся клячу, лицо ее, измученное гримом, печально глядело на меня.

— Я должна вам кое-что сообщить.

Она тщательно закрыла за собой дверь и потом долго к чему-то прислушивалась.

Я слышал гудение своей крови.

А потом она сказала:

— Это не мое дело, но я должна вас предупредить.

— А что такое произошло?

Она приложила палец к губам и снова к чему-то прислушалась.

— Здесь о вас осведомлялись.

Внутри у меня будто что-то оборвалось, но я безразлично спросил:

— Это кто же?

— Там дворник спрашивал, дома ли вы.

— А зачем я ему?

— С ним один человек, — туманно сказала она.

— Какой человек?

— В штатском, по-моему, из райотдела.

Я молчал.

— Из райотдела, маленький такой, блондин.

— И он тоже мной интересовался?

— Он молчал. Но дворник спрашивал, по-моему, по его наущению. Это я вам должна сказать.

Я сделал безразличное лицо.

— Ну и пусть спрашивает, мне-то что?

— Я думала, что вам надо знать, — тихо сказала она. — Он еще спрашивал, кто к вам ходит.

— А мне это неинтересно, — сказал я.

— Я понимаю, — сказала она. — Спокойной ночи. Вы бы все-таки приняли какие меры.

У дверей под порогом по-мышинному зашуршало, что-то постороннее появилось в комнате, я это скорее ощутил, чем услышал. Я приподнялся и увидел под дверью белую бумагу. Это был обыкновенный в линейку лист, страница, вырванная из школьной тетради, некрасиво и плотно испи-санная поперек крупным, неровным, напряженным почерком, с кляксами и перечеркиваниями.

Я стал читать и сначала ничего не понял. Мне показалось, что я сплю, постепенно смысл, странный, нелепый, дошел до меня, и я невольно улыбнулся.

"Ввиду расстройства нервных систем у меня и у вас, мы, очевидно, устно никогда ни до чего не договоримся. Поэтому пишу вам эту записку. Покорнейше прошу вашего разрешения на ночь выставлять ящик с моим ежом куда-нибудь в коридор, так как он мне спать не дает, несмотря на приемы каких бы то ни было снотворных средств. Думаю, что шестичасовое пребывание его в местах общего пользования не нарушит "атмосферное равновесие" в нашей квартире. Дальнейшие ваши неудовольствия моими действиями прошу вас выписывать или высказывать, как вам будет удобнее, мне лично, а не через посредников. С уважением, Любочка".

По ту сторону дверей, как бы ходатайствуя за себя, взды-хал и ворочался на своих шуршащих иглах страдающий

бессонницей еж. Иногда он стучал твердым носом о пол, что-то требуя для себя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Небо над двором было почти черным, тускло и как-то забыто светила пыльная лампочка у подъезда и говорила, что незачем жить, незачем так вот одиноко и долго мучиться, не стоит этого.

Я прошел наискосок через двор и тихо, тоскливо подошел к воротам. Никого не было. Я поглядел на противоположную сторону улицы, и там было пусто. Заглянул в подъезд, и так дико и сыро пахло псиной и мочой, что хотелось взвыть.

Я свернул в темный и пустой Борисоглебский переулок. В церкви Бориса и Глеба пела служба. Стоял неподвижный туман, подкрашенный желтым фонарем. Из облупленного флигелька появилась старорежимная старушонка с лиловым спицем, и он залаял на меня хрипло, по-современному.

Начиналась метель, и переулок стал выть, как труба. И сквозь белую и призрачную переулочную пелену, шатаясь, весь облепленный снегом, шел человек и орал: "И тот, кто с песней по жизни шагает..."

Он падал на колени, пригоршнями жевал снег, подымался и, кружась на месте, идя зигзагами, а иногда и задом наперед, выкрикивал: "И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет..."

Когда я поравнялся с ним, он взглянул мне прямо в лицо и, дыша жарко, сивушно, убежденно проговорил: "Не пропадет", — и попытался ухватиться за меня.

Раньше в вечернем центре мне все было радостно, завлекательно, только выходил из метро на площадь Революции — и вечерние огни, и случайная, возбужденная, взбодраженная толпа безвестных женихов, рогносцев, любовников, зевак, и эта атмосфера ожидания приключений. Я сразу все видел и понимал, и на лету схватывал улыбку, взгляд косой, мимолетный, похоронную фигуру безнадежного стояния, и понимал что к чему и что будет дальше,

кто просто надеется на манну небесную, у кого шансы и кто сиюминутно счастлив, а кто срочно идет ко дну. Но и те, и эти были в хмелю, захвачены блеском фонарей, нервным тиком вечерней улицы, вовлекая и меня в яркое колесо.

...Я остановился у ярко освещенного подъезда театра имени Пушкина. Я еще помнил, когда тут был Камерный театр, я еще помнил "Жирофле Жирофля" и "Адриенну Лекуврер" с участием Алисы Коонен и потом "Оптимистическую трагедию" — последний всплеск, последний крик.

В освещенной витрине "Сегодня" значилось: "Третья молодость", это о гениальном открытии старушки Лепешинской. Вышел служитель в ливрее, вынул "Третью молодость" и вставил новый трафарет.

— Скоро конец спектакля? — спросил я.

Он подозрительно взглянул на меня, словно это была военная тайна, промолчал и пошел с "Третьей молодостью" под мышкой в театр.

Вдруг в вестибюле вспыхнули огни, распахнулись двери, и хлынул поток. На тротуаре собрались зеваки поглядеть театральный разезд.

Все до последнего человека вышли, появился уже знакомый служитель в пальто и ушанке, закрыл дверь, заложил ее палкой изнутри и ушел. Погас свет в подъезде. Я оглянулся, никого вокруг не было, и я пошел вверх к Пушкинской площади. Фонари на бульваре тускнели и разгорались, иногда фонари мигали, зимний ветер раскачивал их.

Я пошел мимо "Кинохроники", которая когда-то называлась "Великий немой" и где сейчас в маленьком длинном провинциальном зале с покатым полом показывали "Во льдах океана"; мимо старой аптеки на углу, которая еще помнила Страстной монастырь и, наверное, поставляла лекарства монахам и где еще и сейчас старики и психи могли всегда достать готовую микстуру Бехтерева; мимо Пушкина, который еще был на месте, там, где его поставили любители изящной словесности и к которому не зарастала народная тропа; и мимо Елисеевского, пылавшего купеческими люстрами; бывшей гостиницы "Люкс", где доживали последние

коминтерновские деятели; пошел вниз по тусклой и почти пустынной улице Горького к Охотному ряду, к гостинице Москва.

В вестибюле гостиницы было чисто, тепло, парадно и пусто, как на избирательном участке в ночь перед выборами.

У окошка дежурного администратора тишина; казалось, номера выдают в небесной канцелярии: вдруг звонили с седьмого неба и говорили: "Броня". И если и бывало, какой-то дикий, заросший командировочный провинциал в сапогах с галошами и разбухшим портфелем или в чеховском пенсне с саквояжем или же пьяный московский мастеровой, вдруг случайно залетевший в гостиницу, спрашивали: "Номера есть?" — им отвечали: "Не бывает"...

Я сел в мягкое кожаное кресло, и мне стало покойно и хорошо.

— Гражданин, вы кого ждете?

Передо мной стояла женщина-администратор в строгом темном костюме и батистовой блузке, резко и лишне пахнувшая духами.

— Вы кого ждете? — повторила она.

— Самого себя, — вдруг сказал я.

— Тут не положено.

— Что не положено?

— Гражданин, русским языком сказано — пройдите, а не то поговорим в другом месте.

— В каком же другом?

— Вы знаете, — сказала она.

Я встал и тихо вышел. Администратор-женщина проводила меня взглядом до самых дверей, и швейцар в фуражке с серебряной канителью, стоявший у дверей с заложенными назад руками, тоже проводил меня взглядом, и я вышел с чувством, будто я что-то украл или хотел украсть.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

...У теплой вентиляционной решетки метро стояла и грелась замерзшая девчушка в меховой жакетке и туфельках на микропорке, худенькая, с охальным курносим личиком

кукольно-порочным, зеленоглазая, замерзшая и веселая, продувная. Она дерзко-небрежно поглядывала на проходящих командировочных пузачей с разбухшими портфелями, разных там пижонистых чуваков, фыркала и вдруг кому-то молодому и симпатичному ликующе выдавала нежную, детскую улыбочку.

Она посмотрела и на меня и как-то удивленно повела бровями, словно передала таинственный знак.

Я замедлил шаг, взглянул на часы и остановился, серьезно и озабоченно поглядел в широкое окно на улицу, будто ожидая кого-то, будто кто-то обязательно вот-вот должен подойти.

Это была одна из тех блуждающих девчонок, из того сиротского, горького легиона, приезжающих зайцем и по билетам с плацкартой для поступления в кинозвезды, из которых бедные непризнанные художники подбирают натурщиц-любовниц.

Нет у них ни жилья, ни прописки, а иногда еще и паспорта нет, одна метрика. И ночуют они у случайных подруг, у случайных старушек в каморках лифтерш и татар-дворников, а то, бывает, и просто у прохожего мужчины, а иногда и на лестничной клетке, на самой верхотуре, где и квартир нет, лишь глухой проход на чердак.

По утрам они собирались обычно скопом из разных районов города, где они продремали эту ночь, кроме тех, которые как раз в это утро были вызваны в киностудию открыткой или шли по объявлению или личному приглашению случайно встреченного режиссера, или оператора, или директора, или ассистента, или осветителя, или просто случайного жулика; кроме тех, которые именно в это утро восседали на троне где-то в Сретенском переулке или на Масловке, или Измайлове, обнаженные, дрожа от холода, позируя художнику или измазанному гипсом или глиной скульптору, который по молодости лет, увлечению и горячке работы не замечал холода; кроме тех, которые в это утро толпились у дверей отдела кадров ЦУМа, или Дома моделей на Кузнецком, или же на актерской бирже на Неглинной, в этой шумной, дикой суতোлке, нанимаясь в советские герлс, в дикие мю-

зик-холлы, левые джазы, в снегурочки, в Кимры, Арзамас, Чарджоу. Так вот, остальные собирались скопом ранним утром на заранее уже договоренном месте, на Центральном телеграфе, или Центральном почтамте на Кирова, или в какой-нибудь пирожечной, или пельменной на Петровке, где было тепло и, собравшись и сложив выбранную, выкарабканную из всех карманов мелочь серебром, а иные даже бумажками, складывались, и пили чай с горячими пирожками, и рассуждали, и советовались, и планировали, как и где им провести сегодня день, и тут же в туалетной менялись кофточками и туфлями или джемпером.

Потом забегают в комиссионку, хотя в сумочках только пачка "Шипки" и коробочка спичек, а вечерами сидят в коктейль-холле высоко на вертящемся табурете, заложив ногу за ногу, с сигареткой в зубах, сосут из соломки зеленоватый, с плавающим желтком коктейль и рассуждают:

— Я уточнила ему образ.

— А мне завтра лицо нести, — грустно отвечает другая.

Ночью их никогда нельзя было встретить вместе, в одной компании. Они разбредались по всему городу, правда, главным образом в пределах Садовой, где в коммунальных квартирах, в комнатухах жили эти художники, режиссеры, опереточные актеры, адвокаты, либреттисты, танцоры, авторы скетчей, скульпторы, юрисконсульты, синхронные переводчики, люди свободных профессий, старые и молодые холостяки.

Я искоса, осторожно поглядел на девчурку, и она, как бы уже готовая к этому, как бы заранее все разыграв в своей душе, откровенно и весело улыбнулась: "И никого ты не ждешь, скорее иди сюда, поговорим, мне ведь тоже одиноко и тошно".

Я понял и той же азбукой Морзе передал: "Иду". И двинулся, как на свет светлячка.

— Здравствуйте, добрый вечер, — сказал я.

— Приветик, — ответила девчурка.

Подтаявшие, мокрые от снега ресницы потекли черным, и, глядя в зеркальце, она делала маленький ремонт.

— Греемся? — сказал я.

— Ага.

Она вынула из кармана пару карамелек, одну кинула в рот, другую дала мне.

— Долгоиграющая, — сказала она.

Стекляшка была мятная, холодная и долго не таяла во рту.

— Как вас зовут? — спросил я.

— А вас?

Я сказал.

— А мое имя есть в опере "Евгений Онегин". Угадайте.

— Татьяна?

— Молодец, — удивилась она.

— А где вы, Танюша, живете? — спросил я.

— Любовник, мерзавец, женился, — беззлобно сказала она и рассмеялась.

— А где же вы ночевать будете?

— А вы живете один? — спросила она.

В пустынном вестибюле метро неожиданно появился какой-то белый от снега ферт в шапке пирожком. Он сразу же, сходу не понравился мне (только отчего шапка-пирожок, они ведь все ходят в ушанках, а может, это высшего разряда?).

Мокрый снежный ферт крупными деятельными шагами прошел к телефону-автомату, закрылся в будке и стал набирать какой-то номер. Я хорошо видел, что он даже ни разу не открывал рта, бросал монету, набирал номер, но то ли было занято, то ли просто не отвечали, вешал трубку и тут же начинал все сначала. И почему-то все казалось, что поверх диска он глядит в нашу сторону.

— Чего ему от нас надо? — сказал я.

— Плевать, — сказала Таня.

Она нагнулась и, поправляя чулок, неловко, как бы случайно, чуть выше приподняла юбочку, и над чулком синела голубая наколка: "Как мало прожито годов, как много сделано ошибок".

— Может, это за тобой? — спросил я.

Она пожала плечиками и рассмеялась:

— А я не боюсь.

Ах, если бы и я мог так же нахально, щебечуще, отвлеченно сказать: "Я не боюсь".

Нет, я боялся, я очень боялся, и все вызванное случайной встречей радостное возбуждение, вернувшее меня на миг в тот давний привычный уютно-веселый мир, сразу остыло и растаяло, и осталась только эта круглая, уже ненавистная физиономия за стеклом автомата, как заведенная кукла беспрерывно крутившая диск.

— Ну, однако, я пошел, — сказал я.

— Куда? — удивилась Таня. — И зачем?

— Надо.

Я сбежал вниз в метро, и в конце коридора еще оглянувшись, не увязался ли за мной ферт в пирожке. На самом ли деле ему надо было так экстренно ночью звонить, и он не мог дозвониться и нервничал там в кабине или он просто разыгрывал комедию и ждал меня?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я вошел в кафе "Националь". Оно светилось большими и яркими веселыми окнами сквозь падающий снег. Теперь кафе было открыто до трех часов ночи. Это сохранилось еще со времен коммерческих ресторанов, когда Сталин дал вдруг волю ресторанному веселью.

Бывало, в полночь и даже после, если не спалось, я вдруг вставал, одевался и ехал на метро, а если метро уже было закрыто — на ночном троллейбусе или пешком приходил сюда, и, словно во сне, попадал в пьяную комедию.

Знакомый швейцар поприветствовал меня, не удивляясь, а я сделал утомленный вид, будто только с ночного ответственного заседания.

Все было, как всегда. Ночная жизнь шла своим чередом, по своим особым законам. Тут был тот, кто должен был быть в этот час. Ежевечерне одна и та же компания из шестимиллионного города отслаивалась, просеивалась и собиралась за этими столиками.

Зимой, часам к десяти-одиннадцати, а летом к полуночи, после гулянья по центру от памятника Долгорукому до гостиницы "Москва" и обратно, по той стороне, где "Арагви", коктейль-холл и кафе "Мороженое" (которое после будет называться "Космос"), каждый вечер тут собирались всегда одни и те же, и все знали друг друга, и только приходили, уже звали их к столикам из разных уютных, симпатичных уголков. Одних или с девушками, постоянными или случайными, которых подцепили только что под светом фонаря у Центрального телеграфа, и потом до трех ночи, когда все компании перемешаются и непонятно, кто с кем, и окончательно это только выяснялось, когда тушили главную люстру, оркестр играл отходную, а потом тушили и остальные люстры, и уже в сумерках между опустевшими столиками уходили последние, и ясно и резко было видно, кто с кем уходит окончательно. Не важно, совсем забыто было, кто с кем пришел, это было до, до Вавилонского столпотворения, до потопа, до выяснения отношений, и теперь смешно и нелепо.

Я и сам иногда, больше всего летом, ходил в эти компании, в эти быстро составляющиеся и так же быстро распадающиеся междусобойчики, а иногда и сабантуи с шампанским, с цыплятами-табака, с ананасами. Но, скорее, я грелся возле них, не кипел кипятком их страстей и интриг, слухов, и переживаний, и катастроф момента. То ли я был нелюдим и слишком одинок и не мог напрасно, на всю катушку нервов сходиться с людьми, то ли было слишком скучно и вяло насыщаться одним и тем же, но никогда я не входил в компании крепко, как застрявший нож. И теперь, когда явился вдруг ночью к концу, все уже были на взводе или вовсе пьяны, и растворены в этой сиюминутной жизни, словно надышались веселящего газа, и никто меня в тумане и не заметил, и я сел в дальнем свободном углу за столик один.

Никто из сидящих тут не догадался, что со мной случилось. А я из той, как бы потусторонней жизни наблюдал их, муки пережитого обострили мое зрение. И с остротой и проникновением уже умершего, с того света, я видел, и прозревал, и понимал, чего каждый из них на самом деле стоит.

Здесь был некогда знаменитый, раздавленный жизнью и официальной критикой писатель с седой гривой, похожий на больного льва. Тихо и сердито сидя за еженощной рюмкой коньяка, уже под шафе, он говорил афоризмами, вокруг него теснились почитатели, прихлебатели, а он глубоким, как львиный рык, голосом, рассказывал им байки. Рядом сидел друг его детства по южному городу, человек известный под именем "брат-антрепренер Карузо". Этот не слушал своего идола, весь был занят поеданием оставшейся на столе от веселой компании куриной котлетки и еще икры. Придвинув к себе блюдечко, он ножом на тоненьком, тонюсеньком ломтике хлеба размазывал икринки и с тихой жадностью поедал, весь отдавшись процессу сосания. До него не доходило ни одно остроумное положение, ни один софизм, ни одна хохма, на лице его было написано тихое наслаждение, и он только про себя шептал: "Нет, никто так не любит икру, как я люблю"— и крутил головой.

Тут же сидел и жадно все слушал миниатюрный, с кукольно пугливым личиком, скромный инженерик, приехавший на собственном "москвичке", гениальный создатель трикотажной фабрики при сумасшедшем доме Краснопресненского района, с использованием амортизированных станков, "левой" вискозы и дарового труда малохольных, которым была прописана трудотерапия, призрачного теневого предприятия, не зарегистрированного ни в одном титульном списке и финансовом органе, подпольный миллионер, более ловкий и жизненный, чем Корейко и Остап Бендер. Портрет его через несколько лет был напечатан в центральном органе как разыскиваемого опасного преступника, и в конце концов он был схвачен в импортном платяном шкафу, где для него построено было ложное отделение с дырочками для дыхания.

Был еще налитый коньяком всех марок и звездочек, известный под именем Валентин-коньячный, бродячий скульптор, член МОСХа, разъезжавший со своей левой бригадой, шарашкой по национальным республикам, изготавливая по шаблону высокохудожественные и высокоидейные статуи, бюсты, барельефы и горельефы Генералиссимуса, а кроме

того, еще скульптурные портреты местных дважды Героев соцтруда — чаеводов, хлопководов и свекловодов.

Был тут человек с греческим профилем, уроженец "русского Марселя", сосед Мишки Япончика с Молдаванки, по прозвищу "мацонщик", юнгой объездивший весь мир и дравшийся в кабаках Антверпена, Сингапура и Буэнос-Айреса, говорящий на арго и знавший двенадцать языков. Он медленно и серьезно поедал свой диетический судак по-польски, запивая "Ессентуки" № 17 и гнусавым восторженным голосом рассказывал своим слушателям, оглохшим и обалдевшим от его баек, о своем последнем открытии сюртука Пушкина. А потом он им наизусть читал сцены из своей пьесы, где главными действующими лицами были знаки препинания: запятые, точки, двоеточия и тире, восклицательные знаки, многоточия, скобки и кавычки — и которая называлась "Чернильные человечки".

Отдельно, за угловым столиком, на одном и том же постоянно абонированном месте роскошно сидел Тим Тимыч, комфортный мужчина в модном твидовом пиджаке, в белейшей и редчайшей в те времена нейлоновой рубашке с широким цветным галстуком в полоску и манжетами с фальшивыми бриллиантовыми запонками. Он поедал шницель по-министерски и говорил чарующим голосом. Рядом с ним задумчиво пил даровую чашечку кофе некогда модный, но давно вышедший в тираж сценарист, основоположник эмоционального кино, который был должен деньги всем сидевшим в кафе, и метрдотелю, и официанткам, и буфетчицам, и служителю туалета. Нынче ночью он с Тим Тимычем договаривался о соавторстве. Тим Тимыч выплачивает ему аванс, не очень жирный, но достаточный, чтобы обедать и ужинать без коньяка, а зачинатель эмоционального кино за месяц напишет пьесу на актуальную, злободневную тему с двумя действующими лицами, с тем чтобы ее могли поставить все театры.

Здесь же был и некогда многообещающий молодой писатель, создатель телеграфного стиля, четверть века назад написавший, что море пахнет арбузом, и который с тех пор уже больше ничего не написал, но ежедневно играл в писательском клубе в биллиард, и выигрывал и пирамидку, и американку.

и этим имел пропитание. Но с тех пор, как он написал, что море пахнет арбузом, у него сохранилась язвительная, высокомерная к остальным метафорам и сравнениям улыбка, и он никак не мог прогнать ее с лица.

Ходил сюда и молодой, официально непризнанный скульптор, похожий на борца, говорят, сработавший гениальные скульптуры, которые никто не принимал на выставку и даже не хотел смотреть.

Недавно он получил заказ на горельеф по проекту реконструкции крематория и сделал эскиз: мертвый юноша, и вокруг стоят скорбные, плачущие люди, лишь одно дитя на руках матери смеется и, ликуя, срывает яблоко на яблоньке, выросшей из сердца умершего юноши, и вокруг летают голуби, ветвистые бегут олени, плывут сказочные рыбы, сияет солнце, жизнь продолжается...

Директора крематория только назначили на этот пост, до этого он был административным полковником, ушел в отставку на пенсию, и вот его перебросили сюда.

Директор просмотрел эскиз и тот ему не понравился.

— Безыдейно, — сказал он.

— Как раз наоборот, — сказал скульптор, — идея вечной жизни.

— Слышь-ка, — сказал директор-полковник доверительно, — ты ведь наш человек, ты воевал, слышь-ка, сидел, ты наш человек. Зачем ты крутишь, ну, зачем выпендриваешься?

Скульптор ответил:

— Слушай, ты в этом мало согласишься, ты лучше больше и чище жги.

— Аудиенция окончена, — обиделся полковник.

Через несколько дней скульптора вызвали на заседание, и директор объявил официально:

— Вот, товарищ, мы тут просмотрели ваш эскизик, посоветовались и коллегиально решили: много у вас пессимизму, пессимизму много, понимаете? А нам что надо? Нам надо людей на трудовой подвиг поднимать!

Вообще это место посещали только прорабатываемые, а те, кто прорабатывал, сюда, как правило, не заходили. Те собирались на загородной даче или на специально нанятой для этого

квартире, и у них даже был свой казначей, собиравший взносы и вербовавший Мессалин.

Позже всех капризно вошел, капризно сел Эгилий Сияльский, лощеный, червонный валет, с набриалиненными волосами, бархатными глазами мазурика, вечный мальчишка, несмотря на свои тридцать лет, все еще ходивший в толстых капризных вундеркиндах. Некогда гадалка пророчила ему баснословное будущее, и, когда он еще учился в школе, мама ежедневно выдавала ему премию за гулянье — пирожное-эклер за дорогу от памятника Гоголю до памятника Пушкину. Он немного знал по-французски и всегда ходил с номером "Пари-матч", немного боксировал, немного играл в пинг-понг, умел на фортепиано, несколько раз участвовал в киномассовках, однажды даже написал брошюрку и ходил со справкой, что представлен за брошюру к Сталинской премии. Он был знаком со всеми знаменитостями, знал все личные и общественные истории, переходил от столика к столику, присаживаясь, рассказывал новости и старые анекдоты и сам слушал новости и старые анекдоты и наконец присел к двум девчонкам и, приподняв широкие темные брови, с повышенной миной, стал рассуждать.

Подошла официантка и спросила: "Что тебе, Эгилий?"

— Болгарские сигареты и две коробки спичек, — капризно кинул он.

— О, Эгилий шикует сегодня, — сказала одна из девчонок.

— Еще бананы, — сказала вторая.

Эгилий сделал гримасу.

— Знаете, на что они похожи? На замороженную картошку, popryskannuyu odekolonom.

А я даже напиться не мог. Другие напиваются в таких случаях, и им хорошо, на один вечер хорошо. На следующий вечер они снова напиваются, и им снова хорошо. И так они делают каждый вечер, они все время во взведенном состоянии, и им всегда хорошо.

Меня мутило после второй рюмки, и ничто не заглушало, а было еще хуже. Я даже не пробовал напиваться, а только глядел, как это делали другие. И меня воротило даже от этого зрелища.

Вдруг опять повторилось то же самое, что на станции метро. Я заметил, что флейтист, наигрывая на своей флейте, глядит прямо на меня. Я стал увильгивать от его взгляда, я закурил сигарету, я наливал воду в бокал, пил, глядел в сторону на танцующих, кому-то даже подмигивал, но, когда как бы случайно взглядывал на флейтиста, он все не отводил от меня намертво уцепившегося за меня взгляда. И беспокойство охватило меня, и все подмывало встать и уйти. Я стал вспоминать, был ли он тут, когда я пришел. Но за это время флейтист стал смотреть совсем в другую сторону.

Сейчас я вдруг вспомнил, что весь день ничего не ел. Никто не подходил к столику и, когда я спрашивал: "Кто здесь обслуживает?", на ходу отвечали: "Сейчас подойдут". Когда я снова спрашивал: "Где же официантка?", отвечали: "Мало куда она могла пойти, она же человек".

И только когда потушили главную люстру и в наступившем сумраке оркестр стал собираться, подошел краснолицый официант-мужчина, на ходу жуя.

— Долго же вас не было, — сказал я.

— А что, я уже покушать не могу?

От него разило коньяком, портвейном, перцовкой, всем букетом недопитого дарового ерша.

Официант сунул мне в руки меню, но там была только карта вин. Потом он пошел куда-то, долго его не было и, все жуя, принес меню.

— Только холодное. Кухня закрыта.

— А что есть холодное?

— Все есть.

— Ну, дайте балык, — сказал я, читая меню.

— Балыка нет.

— Тогда осетрину с хреном.

— Осетрина кончилась.

— А что есть?

— Все есть.

— Тогда лососину.

— Кета есть, — сказал он.

— Дайте кету.

— Все? — спросил он и махнул в воздухе салфеткой.

— Еще кофе по-турецки.

— Кофеварка ушла.

— Тогда чай.

— Не бывает.

— Боржом.

— "Ессентуки" номер семнадцать, — твердо сказал официант.

— Хоть двадцать семь.

— Двадцать семь нет, — он поджал губы. — Семнадцать.

— Ладно.

Официант снова разгильдяйски махнул в воздухе салфеткой и пошел разнузданной, развинченной походкой эквилибриста, и исчез на кухне.

На эстраде музыканты, шумно разговаривая, собирались домой, пианистка со стуком закрыла крышку рояля и стала рыться в своей авоське, стоявшей под роялем, скрипач спрятал скрипку в футляр и одновременно что-то жевал, ударник собрал свои колотушки, треугольнички, спрятал в деревянный ящик и закрыл на висячий замок.

Мимо замерзших окон проходили тени.

Когда официант принес порцию кеты, все скатерти уже были убраны, стулья опрокинуты и поставлены на столы, из кухни потянулись повара, мойщицы с тяжелыми авоськами, процессию завершал кухонный мужик, тоже с полной авоськой.

На вешалке висело только одно мое пальто, гардеробщик снял свою фуражку с позументом и, стоя, в синей шевиотовой кепке, поджидал меня, и я его не узнал.

Он взял номерок, выдал пальто, пошел со мной к закрытой двери, отодвинул задвижку, выпустил меня. Ветер кинул мне в лицо ворох холодного колючего снега, я жадно вдохнул свежий, какой-то таинственный воздух ночного города и пошел вверх по улице Горького к Центральному телеграфу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Жутко мне в этой ночи, в этих замерзших переулках с тусклыми мглистыми фонарями, старыми, ободранными до костей стенами, безмолвными окнами. Только теперь

видно было, какой это старый, усталый город, все переживший, все претерпевший и упрямо, и терпеливо переживающий и эту холодную, пустую, безнадежную ночь. А зачем? Разве не то же самое будет завтра, и послезавтра, и через год? И через десять лет будет такая же пустая, замерзшая, метельная ночь.

Внезапно я вышел на широкую, заснеженную площадь с замерзшим прудом. Я очистил скамейку от снега и сел под деревьями. Ветер шумел над головой. Мне казалось, падали звезды.

... Пламя трещало и пробегало по торфяным болотам, огонь то медленно, тускло и мертво тлел, то вдруг, взрываясь, вспыхивал и рассыпался в ночи бенгальским фейерверком. Раскаленные берега горящих торфяников обнажились, изгибались, они похожи были на лежащие в графитовом море коралловые острова, которые от ветра колебались. Партизанские кони, привыкшие к зрелищу, бодро бежали сквозь дым, и то выносили на ясный простор, то снова входили в дымовую завесу. Там, где огню уже нечем было гореть, земля лежала вся обугленная, в ядовитых, желтых и серых плешинах пожарниц.

Неживой, бледно-фиолетовый свет изредка заливал болото и потом медленно угасал, снова наступала тьма и тишина.

Я приехал к нему под Брест, он стоял со своей бригадой в лесу за железкой и за шоссе, как в девятом круге ада, вокруг на тысячу верст немцы и немцы, все забили немецкие дивизии, полевая жандармерия и СС, и гестапо, и лагеря.

В рассветном осеннем лесу низко стелился дым костров, и между деревьев ходили бородатые юноши с черными немецкими автоматами на груди.

Командир бригады Гоша, картинно красивый, юный, стройный, с белокурыми усами и зелеными жестокими глазами, жил в будане — лесном шалаше, как князек, с коврами на стенах, патефоном, личным самогонным аппаратом, личным поваром и любовницей — радисткой.

— Сбор! — приказал командир бригады. Зазвонили в рельсу. Из шалашей и землянок по всем тропинкам шли партиза-

ны с винтовками, автоматами, пряча гранаты в карманы, застегиваясь на ходу, и скоро на поляне стоял строй разношерстный, разномастный и гудящий, готовый все услышать, и все принять, и все исполнить.

Гоша в ярко-зеленой, цвета весенней травы, фуражке пограничника, в мягких кавказских сапожках со шпорами вышел вперед.

— Хмуренко!

— Есть, — лихо, весело ответили из рядов.

— Десять шагов вперед!

Из рядов вышел молодой парень, в черной кожанке, с незначительным мелкокостным лицом, в картузе, с красной лентой, и почему-то уже без винтовки, и, отсчитав десять шагов, ортановился.

— Кругом! — скомандовал Гоша.

Парень повернулся и теперь стоял лицом к строю. Рядом с Хмуренко по бокам оказались два автоматчика и быстро сорвали с него пояс и выдернули звездочку из фуражки. И все так странно — поспешно и грубо, будто он мог протестовать или убежать.

Трудно сказать в чем дело, но, когда с военного снимают пояс, он уже не человек, он и сам не чувствует себя человеком, и никто уже не считает его за человека, он вне закона, и делать с ним можно все что угодно.

Хмуренко было лет двадцать шесть, у него была черная лихая челка, мелкие черты лица.

В это время прибежал особист, худой, обугленный, словно сожженный в огне, цыган.

— Допрос, — шепотом, одними губами, так, чтобы не слышали рядом, сказал он командиру бригады.

Гоша повернул к нему свое красивое, смелое лицо и внимательно, насмешливо взглянул на него.

— Потом.

— Когда потом? — спросил особист чуть громче, настойчивее, и цыганские глаза его засияли.

— Там допросят, — сказал Гоша и, уже не поворачиваясь к нему, показал на небо.

— Допрос, допрос, — надоедливо повторял начальник особого отдела, — как я оформлю?

— Спишется.

— Допрос, — жестко повторил цыган, и глаза его уже горели потусторонним огнем.

— Отставить! — сказал Гоша и выругался кратко.

Все произошло очень быстро.

— За мародерство, за оскорбление звания партизана — расстрелять! — звонко прокричал Гоша.

Казалось, Хмуренко еще не понимал в чем дело, он смотрел как-то жалко, даже чуть улыбался, будто ему поставили двойку и ему немножко стыдно.

Звякнули сразу несколько затворов, и три бойца подняли винтовки, а Хмуренко все еще стыдливо, жалко улыбался.

Он стоял у бесприютных кустов, один, и вокруг него, облака и ветер, и три бойца целились в него.

Я отвернулся.

— Сто-ой! — дико закричали со стороны. — Там животного.

Бойцы опустили винтовки.

Из кустов позади Хмуренко вышла лошадь.

Она вышла на подогнутых, слабых ногах, взглянула на происходившее и жалобно заржала.

Начальник штаба подбежал и хлыстом прогнал лошадь.

— Давайте, — сказал он. — Можно.

Бойцы снова подняли винтовки, а Хмуренко стоял, оглядываясь, чего-то все еще ждал, как бы до конца не понимая, что хотят с ним сделать.

Три винтовочных выстрела слились в один, и Хмуренко упал, и лежал неудобно, подогнув под себя ногу, и стал похож на кучу старого тряпья.

Сразу же все молчаливой толпой окружили то, что лежало на земле скрючившись, посиневшее, фиолетовое, будто вся кровь от удара выстрелов вспикела и застыла фиолетово.

Партизаны, разговаривая, расходились в разные стороны.

Гоша зажег спичку и закурил трофейную сигарету.

— Ладно, спишется, не такое списывается.

Кому-то списывается, а ему, Гоше, юному, храброму, до безумия храброму, патриоту, неужели одна чепуховая жизнь не спишется?

— Ха! Что? Для себя это делаю? Для своей корысти? Для дела. Пример!

Я сидел на заснеженной скамейке в сквере неизвестно где. Города не было, и ночи не было, ничего не было. Какое-то безвоздушное, безвременное пространство. Что-то внутри истончилось, надломилось. Я исчерпал себя и больше не хотел думать, переживать, уклоняться.

Не было сил встать, пойти, и снег засыпал меня, и снова все ослепло и оглохло вокруг.

Пробежала мимо кошка, потом вернулась и остановилась передо мной. Черная кошка в снегу, с зелеными глазами. Ее зеленые глаза сверкали во тьме и молча что-то мне говорили. И мне вдруг показалось, что она приняла меня за кошку, которая только притворяется человеком. Я встал, отряхнул снег и пошел. Зеленые глаза долго и затаенно смотрели вслед.

Я так устал, что уже ничего не чувствовал, и будто бесплотной тенью двигался по тротуару, и было все равно, куда идти.

Неожиданный весенний ветерок, прилетевший откуда-то, принес запах оттепели, снеговой воды, ивовых веток, воли и всего того дорогого, что я некогда знал и от которого я уже отвык.

Город расплывался, проступал сквозь легкий утренний снежно-голубой туман, и все было нереальным: и это утро в конце ночи, и прошедший день, и вся моя жизнь.

Это я, это я шел рассветающей, пустынной улицей, отражаясь в утренних витринах вместе с облаками, с погасшими фонарями, и это я вдыхал свежий утренний ветер. Я видел себя как бы со стороны.

Еще не ходили троллейбусы, еще только появлялись из темных подъездов, из ворот те первые черные, робкие фигуры с авоськами, спешившие в очереди.

Дворники в белом, как ангелы, шли на меня, словно крыльями, размахивая метлами.

И еще эти странные горестные одиночки в бобрике и ботах маялись и переступали с ноги на ногу в подворотнях, и курили папироски, у них были унылые и скучные лица и в этот рассветный час они казались выставленными за дверь неверными мужьями.

Все они посматривали на меня, а мне уже было все равно. Теперь я уже ничего не боялся и нахально, с любопытством разглядывал их, и некоторые отворачивались и смотрели в другую сторону.

Я прошел мимо витрины с часами. Очень много часов, все они показывали одно и то же время, в ожидании чего-то важного и неминуемого. Потом была старая арбатская аптека, беспокойный, тревожный сумрак дежурки, с красными энергичными резиновыми грушами клистиров в витрине.

Вот и серый наш дом, спокойный, будто ничего не случилось.

Вспыхнул свет в окне Свизляка, яркий, режущий, и мое окно тоже стало белесым. Это как-то успокоило меня. Я пересек улицу, и вошел во двор, и увидел чьи-то следы на свежем снегу.

Я медленно поднялся по черной железной лестнице, и она тяжело звенела ночным чугуном.

Это был тот единственный час, когда даже в коммунальной квартире было тихо, молчало радио, молчали все патефоны, спали все мясорубки, но все равно тишина казалась обманной, казалось, все наполнено гремячим газом и стоит только зажечь спичку или крикнуть — все проснется, вспыхнет, и взорвется, и взлетит к чертовой матери.

Старуха Сорока еще не умерла, она была на кухне, суп ее доваривался, и тошнотворно клеевой чад вываренных рыбных костей залепил мне лицо, и стало трудно дышать.

Старуха поглядела на меня своими голубыми, выветрившимися глазками и ничего не сказала. Я прикрыл тяжелую кухонную дверь, потом открыл большим ключом дверь в темный коридорчик, маленьким французским ключиком еще одну дверь и вошел в комнату. Она ждала меня, она

всегда ждала меня, она была до ужаса пустая и голая. Казалось, что-то происходило в ней, пока меня тут не было целую вечность, наверно, какие-то тени моей прошедшей тут жизни, эхо разговоров, отражения мои в зеркале жили в ней все это время и по-своему распоряжались без меня, а теперь с моим появлением все это замерло, улеглось, утихло.

Тошнотворный туман выветриваемых рыбных костей проник в комнату сквозь щели, сквозь замочную скважину, скопляясь в удушливое облако.

Было тихо, и покойничком светом горел фонарь у окна. П слышался близкий, а затем дальний бой часов, словно часы, перезваниваясь, переговаривались между собой. Незрячее, невидимое, удушливое облако стояло и не уходило из комнаты и душило меня. И не было на свете ничего, кроме этого облака.

"ВРЕМЯ И МЫ"

В ближайших номерах: Юлий Марголин "Сентябрь, 1939" (продолжение), Е. Бахтин "Ванька-Каин", Андрей Синявский "Театр Галича", Э. Бруцкус "Русская культура в Израиле", Владимир Маразмин "Человек, который верил в свое назначение". Рой Медведев "Сталин на страницах журнала "Время и мы", рассказы Сергея Довлатова и др.

Стоимость подписки на год — 264 лиры, на полгода — 144 лиры. В открытой продаже - 28 лир. Журнал продается — в Тель-Авиве: в магазинах Болеславского и Лепак, Сдерот Асефер (ул. Алленби, 116), в супермаркете Амашбир Лецархан (ул. Алленби, 115), в Иерусалиме: в супермаркете Амашбир Лецархан (ул. Кинг Джордж), в магазине "Дар", в Хайфе: в магазинах Лепак и Бронфмана (на Центральной автобусной станции), в Реховоте (на Центральной автобусной станции).

У С Л О В И Я П О Д П И С К И З А Р У Б Е Ж О М

В США и Канаде — 39,20 \$(на год)
 Во Франции — 176F.FR -----
 В Германии — 92 DM. -----



Цви ЛУЗ

ШУЛАМИТ

(рассказ)

1.

Шуламит ушла одна. Раньше времени, в конце весны, в самом начале долгой страды. Дети остались со мною. Я вынужден оправдываться, хотя убежден — наступающие дни не будут хуже тех, что были.

Во всяком случае, первые годы после женитьбы отнюдь не были лучшими годами нашей жизни.

Сразу родился Узи. Через положенный промежуток времени появилась на свет Божий Анат. Я вдруг почувствовал себя главой семьи, и мной овладела какая-то слабость. Особенно я стал бояться перемен. Шуламит же, напротив, была одержима жаждой деятельности и упорно настаивала на своем: мы должны покинуть эти места, расстаться с кибуцом и Долиной.

"Эти места" или "наши места" — понятие довольно неопределенное. Оно у нее меняется в зависимости от настрое-

ния. Иногда это понятие включает в себя нашу двухкомнатную квартиру с открытой верандой и палисадником (в последнее время запущенным), но не включает ряды одинаковых кирпичных домов и хозяйственную усадьбу. Особенно неприязненно она относится к столовой, построенной, по моему мнению, без должного размаха и без полета воображения, к зданию, удручающе будничному и безликому. Иногда же в это понятие входят все жилые помещения с усадьбой и даже новый лагерь НаХЛ*, что по ту сторону ограды. Все зависит от настроения. Я лично не утруждаю себя такими определениями.

Шуламит была некогда полной и румяной девушкой. С годами она становилась все тоньше и бледнее, но ее нажим на меня все возрастал. Был у нас уговор, который мы тщательно соблюдали после неожиданного рождения Анат. Шуламит твердо решила не рожать больше детей, пока мы прочно не обоснуемся на новом месте.

О "новом месте" она говорила убежденно и уверенно. В ней таилось непреодолимое и непонятное упрямство, скрытое от других легкостью бытового общения, но его выдавали резкие повороты затылка, который отнюдь не был хрупким.

Верно, что о том, чтобы уйти из кибуца, мы беседовали давно, еще до рождения детей и даже до того, как решили пожениться. Шуламит была до мозга костей горожанкой, в городе выросшей и воспитанной. А я по простоте душевной уговаривал ее: "Поживи с нами, если не понравится — уйдем. Всегда можно уйти. У нас так хорошо, — убеждал я ее, приводя весьма резонные доводы, — все зависит только от нас самих, от тебя и от меня".

И сам я, откровенно говоря, тоже иногда подумывал об уходе из кибуца. Большой мир издали кажется очень привлекательным, особенно для деревенского жителя. Но не об этом сейчас речь. Из сердца Шуламит мне так и не удалось искоренить опасное заблуждение, что все зависит только

* НаХЛ — военизированная организация, объединяющая молодежь призывного возраста, совмещающую боевую подготовку с сельскохозяйственной учебной. (Здесь и далее примечания переводчика).

от нас самих. Я понадеялся, что со временем наши желания будут совпадать или один убедит другого в своей правоте. Пожалуй, я не очень-то углублялся в этот вопрос, считая, что теоретически можно говорить о том, чтобы оставить кибуц, строить всевозможные планы и взвешивать разные возможности, а практически никогда дело до этого не дойдет. Тем более что ничего из того, о чем мы говорили, не свершалось, разве только после очередной ссоры. А ссоры эти регулярно повторялись каждые две недели.

... Это происходит обычно вечером в нашей комнате, когда ничто как будто не предвещает бури, в атмосфере тягостного ожидания. Но слишком вежливые разговоры таят в себе какую-то неясную угрозу. Я остерегаюсь называть ее ласкательным именем "Шули", впрочем, как и полным именем Шуламит. Она, гладкая и холодная, как стекло, демонстрирует хорошее воспитание. Дети в подавленном настроении — видимо, из-за высокого атмосферного давления, — и мы спешим пораньше уложить их спать. В комнате воцаряется напряженная тишина. Я стараюсь уткнуться в книгу или сосредоточенно слушаю радио. Она внезапно зажигает папиросу (обычно Шуламит почти не курит), которая заполняет дымом всю комнату, и нервно шагает взад и вперед. Мы оба нервничаем, оба чего-то ждем. Затянувшееся молчание не предвещает ничего хорошего. Мне сейчас уже все безразлично. Напротив, случайно сказанное мною или ею слово приносит неожиданно облегчение. Это — как электрический разряд в атмосфере. Вместе с шипящим шепотом, вылетающим из ее уст, испаряется хорошее воспитание. Хищный оскал зубов и гримаса на губах неопровержимо свидетельствуют о силе ее ненависти ко мне. С наслаждением я бы ее сейчас ударил. Но вместо этого я проявляю сдержанность, педантичность, тщательно подбираю слова, которые могут задеть больше, и наслаждаюсь ее обострившимся, побледневшим лицом. Всего легче мне издеваться над ее стремлением покинуть кибуц, напомнить ей все и на всем поставить крест. Пристыдить и ее, и себя за наши планы, за страх, который мы испытываем, как воры, как предатели, что наши сокровенные мысли станут известны товарищам.

— Ты! — шепчет она (когда Шуламит в сильном гневе, то всегда говорит шепотом), — ты говорил, ты обещал. Ты во всем виноват. Ты! Ты!

К счастью, вечера у нас короткие. Мы оба очень издерганы и из-за усталости оставляем друг друга в покое. Передышка. Она длится от трех-четырех до шести-семи вечеров. И тогда я начинаю подозревать детей, что они с ней заодно. Однако Узи, по-видимому, ко всему безразличен, а вот Анат по ночам мочит простыню и как-то странно пронзительно всхлипывает.

Три-четыре и даже шесть-семь дней бойкота — и тебя начинает одолевать тоска. Безо всякой видимой причины, как бы пробудившись ото сна, мы начинаем что-то говорить. Она или я. И в комнате вдруг начинает веять духом примирения. Все, в действительности, вовсе не так уж страшно. Можно сделать еще одну попытку. Можно жить от одной попытки до другой. Тем более что во время перемирия каждый старается вознаградить другого. Право, стоило повздорить даже только ради последующего примирения. Комната полна голубиного воркования, и, само собой, снова всплывает на поверхность первое условие — оставить кибуц и начать новую жизнь. Я, вполне примирившийся, жаждущий отплатить ей добром за добро, делаю широкий жест и обещаю снова во всех деталях изучить этот вопрос. Шуламит всегда верит в свою счастливую звезду. У нее уже заранее составлен подробный план.

Я, по ее мнению, — первоклассный механик (это верно: как-никак я уже пятнадцать лет вожусь с тракторами и другими сельскохозяйственными машинами в нашем гараже). Почетная и весьма доходная работа для перворядного механика найдется в любом месте. "И какая тебе разница, — пытается она выяснить прямо с ходу, — где возиться с машинами, здесь или в другом месте. Ведь всегда и везде ты все тот же — первоклассный механик". А вот для нее — это большая разница. Она хочет жить в определенном месте — не в очень большом городе, но и не в пыльной деревне. Она хочет жить в тихом и культурном пригороде, вроде Бейт Керем или Цахала. Там приятные дома, каждый на одну

семью, просторные дворы с палисадниками и фруктовыми деревьями, небольшой чистый торговый центр, хорошее автобусное сообщение и приличная школа для детей. Когда она тихо и неторопливо говорит об этом, как бы размышляя вслух, ее узкое лицо преображается. Его выражение трогает меня до глубины души. В эти минуты я с ней полностью согласен и одобрительно покачиваю головой.

— Ты, Руби, сам будешь более счастлив на новом месте.

Она зовет меня Руби, когда мы живем в мире и согласии. В периоды враждебных действий она расчленяет мое имя на слого — "Ре-у-вен".

Сознаюсь, что каждый раз, когда она заново воспламеняется своей маленькой мечтой, я тоже немного воспламеняюсь. Ибо, в конце концов, чего она добивается для себя? Не слишком многого, лишь того, что положено каждой женщине, если только в этом заключается все ее желание. И когда я одобрительно качаю головой, это не притворство и не мнимое согласие. В эти минуты я грежу вместе с ней. Она уютно устраивается в моих объятиях. Нам хорошо, нам тепло, и вместе с тем я хорошо знаю (и она понимает это не хуже моего), что вопрос о переезде еще далек от окончательного решения. Мы никогда не договариваемся четко и определенно: тогда-то и тогда-то встаем и покидаем кибуц. О чем она думает в моих объятиях, я даже не пытаюсь угадать. А я думаю о том, о чем никогда не решусь ей сказать. И эти мгновения обретают особую остроту. Свернувшись калачиком, она прильнула ко мне, а я воспламеняю ее прикосновением своей руки. Потом, в кровати, она более отзывчива и добра, чем в ту пору, когда была полной и румяной девчонкой. И я очень дорожу своими правами, которые заслужил легким кивком головы, молчаливым согласием.

Меня радуют также проходящие затем дни. Сам ход времени наполняет меня душевным удовлетворением, как спортсмена бег с препятствиями. И это вовсе не хитроумная уловка, заключающаяся в том, чтобы давать обещания и не выполнять их, тянуть время. Хотя я никогда ей ничего определенного не обещал, все же полагаю, что наступит день, когда нам надо будет сняться и уйти. Просто, с легким серд-

цем, ибо что может быть естественнее желания найти подходящее место для себя и своей жены (если вообще можно найти такое место). А пока, думаю я, пусть время идет своим чередом.

Но не только этот вопрос, который никогда не сходил с повестки дня, был причиной наших ссор. Они были неизбежны в силу естественного хода жизни.

Все мои желания сводились к тому, чтобы выиграть время. Возможно больше времени. Потому что жигь в Долине тяжело. Тут трудный климат. Тут трудные люди. Молчаливые, но иногда их прорывает. Казалось, они всегда ищут какую-то внутреннюю правду. Потому надо знать, когда затевать с ними разговор. И я сам для себя определил время, когда начать действовать. Не говоря об этом вслух, я решил, что пока еще живы наши ветераны, зачинатели, имя которых неразрывно связано с этим местом, я лично из кибуца не уйду. Не из-за отца, который был одним из его основателей. Отец давно умер, и его могила была одной из первых на масличном холме, который мы отвели под кладбище. И не из-за матери. Она никогда не принадлежала к числу ветеранов, хотя уж состарилась. Только в ветеранах была вся загвоздка.

Когда другие покидают кибуц, и даже тогда, когда они уходят, оставляя здесь стариков, я не завидую ни уходящим, ни остающимся. Те, что ушли, меня больше не интересуют. По сути, и я ушел бы, как они, без долгих колебаний, ибо, как говорит моя мама, жена ближе любого друга. Не друзья меня здесь удерживают, а ветераны. Старики, время которых прошло. Может быть, именно это время, что прошло, связывает меня с ними.

Некоторые из них еще остались с нами. Их присутствие напоминает, как все быстро проходит и меняет свой облик, но оно же требует от меня — только от меня одного! — не уходить и не меняться. Их присутствие требует и моего присутствия вместе с ними. Без меня обесценивается весь смысл их жизни в этой Долине. И я говорю себе: пока они здесь, и я должен быть здесь.

Это не значит, что я говорю это вслух. Даже моей матери, вдове ветерана, этого не объяснишь. Ведь она на стороне Шуламит. Мать не боится остаться здесь одна. Так же, как Рути (моя сестра) после замужества покинула кибуц, так и мы можем оставить его, а о ней, о матери, не нужно беспокоиться. Ибо — мать убеждена, как и все неветераны — важнее всего не кибуц, а наша молодая жизнь.

Я прикусил язык. И когда это я научился молчать и ждать? В тот день, когда мы предадим земле останки последнего из ветеранов, я буду волен идти в любое место, куда захочет Шуламит.

Пусть никто, упаси Господи, не подумает, что я с нетерпением дожидаюсь этого дня. Время, кажется, удаляет его от нас. С душевным трепетом я издали наблюдаю за нашими ветеранами. В последнее время ряды их очень поредели. Я всегда вижу их одинокими, и это как раз меня радует. Полвека они шагали строем, всегда были вместе, и вот в конце концов каждый из них сам по себе. Даже не муж с женой, а каждый в отдельности. Однажды я наблюдал за старцем, который шагал в одиночестве от дерева к дереву по аллее, а затем уселся на скамью отдохнуть и задремал с застывшей улыбкой на лице. А еще я заметил в углу полутемной столовой в пустом зале человека. Он пристально смотрел, но не заметил, что я прошел мимо него. А иногда они стоят у дверей своих домов и как бы медлят зайти во внутрь. Я всегда остерегаюсь сболтнуть лишнее, когда говорю со стариками. Но когда мы время от времени хороним кого-либо из них, я всегда стою у могилы и сгребаю землю. Удары комков земли о гроб напоминают звук рвущейся ткани или разрыв корней в глубине, скрытой от дневного света. Я знаю, что скоро все это поколение уйдет в небытие.

2.

Итак, Шуламит ушла. Одна ушла, не спросясь, до намеченного срока. Ушла из-за истории не столь уж существенной. Произошел случай, который сам по себе не может слу-

жить причиной того, что женщина покидает дом и уходит. А вот Шуламит ушла.

Однажды утром в конце зимы, в тихие дни межсезонья пришла к нам работать на посадках лиственных деревьев солдатка. (Мне уже порядком надоело мое положение механика первого класса, хотя оно и весьма почетное. На посадках тишина, покой, тут больше чувствуется земля, природа, особенно когда распускаются почки. А в последнее время я больше всего дорожил тишиной.)

С первого взгляда — солдатка как солдатка. Но Шули в ее возрасте была намного привлекательней. Во всяком случае, молодая девушка, среднего роста, с мягкой веснушчатой мордочкой, с кожей, склонной к шелушению от солнца, с крашеными и коротко подстриженными волосами. Серая, плотно прилегающая солдатская гимнастерка хорошо подчеркивала ее фигуру. Не скажу, что она меня особенно заинтересовала. Просто, было приятно.

Звали ее Нира. Она была из подразделения НаХЛ, которое расположилось лагерем за нашим забором.

Конец зимы, конец сезона, работы немного. Мы вдвоем были на посадках. Она нечаянно садовыми ножницами поранила плечо, но промолчала и продолжала работать. Я почти не ощущал ее присутствия. Работая в поле, я испытывал полный душевный покой.

В эти длинные зимние вечера мои отношения с Шуламит обострились до предела. Шуламит, сдержанная и упрямая, вынашивала какие-то свои планы. Хороших дней уже почти не было. Я чувствовал сильную усталость еще до того, как видел ее, и уж не мог, как прежде, спокойно спать. Мне не хватало оздоравливающего сна трудового человека, который застает дома тянущуюся к нему жену и засыпает вместе с ней. В поле, в тишине, на лоне природы я отдыхал от участвовавших ссор.

По влажной земле шагалось уверенно. Я ходил вдоль одинаковых рядов деревьев, и тишина навевала приятное забвение. Они удивительно точно подчиняются сезонному циклу: время цветения, завязи, созревания плодов, никаких отклонений.

Я уж много дней работал с этой девушкой на посадках. Мы встречались в междурядьях, Нира и я. Я помогал ей, когда она возилась с тяжелыми ветками, и, случалось, вольно или невольно, прижимался к ее спине, касался ее рук, но не убирал своих, не отодвигался, однако и не испытывал особого влечения. Она всегда хихикала, как чувственная девчонка. Руки у нее были округлые, мягкие, неприученные к работе. На них я смотрел рассеянно. Если бы мне довелось оглянуться, меня охватили бы грустные мысли: уж очень я постарел. Солдатка, молодая, нежная, она ждет, она вполне доступна, стоит только протянуть руку, запах ее духов щеко-чет мне ноздри. Что еще нужно — ранняя весна, теплынь, полевые цветы...

Каким я стал равнодушным! Даже забыл спросить, вежливости ради, из каких она мест. Не поинтересовался узнать (и до сих пор не знаю), чем она занималась раньше. Вообще-то лучше вовсе не думать о Нире. Если уж думать, то о себе самом, чтобы уяснить, почему случилось то, что случилось. Я все больше склоняюсь к тому, что виной всему судьба — видно, так у меня на роду написано.

Дождь застал нас на поле врасплох. Мы поспешили под навес. Делать было нечего, и мы присели между сельскохозяйственными орудиями и мешками с удобрением. Воздух был какой-то серый, темнело. Дождь однообразно барабанил по жестяной крыше, и я чувствовал себя усталым. Вчера Шуламит не позволила мне лечь на нашу двуспальную кровать, и я задремал в кресле, закутавшись в одеяла, и мои ноги окоченели от холода. Теперь я задремал под навесом — сам по себе, в уголке.

Вдруг меня разбудил шум дождя. Я привстал, потом присел, снова встал. Запах дождя возбудил меня, взвинтил нервы. Из-за усталости вдруг мною овладела какая-то злость. Я остро почувствовал обиду. И этот туман, что окутал навес... Мы с солдаткой оказались в узком, закрытом пространстве, а дождь продолжал лить. И внезапно, совершенно беспричинно и безо всякого умысла, я вскочил и прильнул к Нире, которая сидела, скорчившись между тяжелыми мешками. Я положил руку на ее грудь. Она не шевельнулась. Она

только хихикнула. И я помню, как меня пронзила мысль: она ждала меня все те дни, что мы молча работали вместе, время от времени натываясь друг на друга! Я был весь охвачен гневом, я так рассердился, что тут же, на земле, пропитанной машинным маслом, овладел ею. Но не почувствовал ни радости победы, ни сладкого вкуса мести. Моя злость куда-то испарилась, как только я отстранился от нее, и все было так просто и естественно, и я себя чувствовал просто-душным ребенком. Я был самим собой. Только какой-то размягченный и пустой. Далекий от жены и детей. Я лежал на земле и вдыхал запахи старой пыли. Мне мешало тонкое хихиканье солдатки, ее неприкрытое сластолюбие. Она обнимала меня, будто я был ей ровня, молодым парнем из подразделения НаХЛ. Одним коротким словом я оборвал ее смех.

Весной в поле ко мне вернулись мои юношеские силы. Никогда я с ней долго не беседовал. Хватит с нее того, что я даю ей, а ее мысли и чувства меня не очень интересовали. Чаще всего я заставлял ее в возбужденном состоянии. Среди работы, внезапно, я валил ее на землю, на весенние травы, которые бурно прорастали. На влажное поле, разрыхленное, плодоносящее. Земля принимала нас охотно, молчаливо, дружелюбно и сочувственно. Не эту девушку я любил, а землю, которая расстилалась под нами.

В конце концов я отдалился от Шуламит. Наши ссоры затягивались, казалось, примирение уже потеряло всякий смысл. К своему удивлению я обнаружил, что так мне даже удобнее. Шуламит разобрала наше двуспальное ложе и устроила две кровати у противоположных стен комнаты. Я отреагировал на это снисходительной улыбкой. Когда супруги спят отдельно, между кроватями неизбежно воцаряется атмосфера вражды. Как бы по молчаливому согласию я избегал смотреть в ее сторону, когда она была в прозрачной ночной сорочке. Если случайно наши глаза встречались, я убеждался, что эта женщина, бывшая моей женой, за короткое время очень постарела. Я и на это не обращал внимания, поворачивался на другой бок и засыпал. Спал я хорошо и вставал свежим и отдохнувшим, готовым снова работать от зари до зари.

Эти дни, идущие спокойным чередом, приносили радости больше всех минувших лет. Я замкнулся в себе. Слухи, которые доносились с поля домой, недоумевающие взгляды, молчание наших добрых друзей — все это меня не особенно задевало.

Но однажды вечером, вернувшись домой, я застал Шуламита за упаковкой чемоданов. Два больших чемодана были набиты до отказа. Я с уважением посмотрел на нее — как ей это удалось самой, никому не говоря ни слова. Весь вечер на душе у меня было спокойно. Если она что-то затеяла — это меня не трогает. Напротив, при нынешнем расположении духа я даже радовался предстоящим переменам. Она поедет к своим родителям, живущим в городе (ее старики подозревали, и не без основания, что я отношусь с некоторым пренебрежением к их дочери-буржуйке), а со временем все уладится. Время работает на нас, мне торопиться некуда. Я хотел выиграть побольше времени.

Уснуть не удавалось. Я слышал, что и она бодрствует в темноте, но молчит, она слышала, как я ворочаюсь. Опасаясь, что начнутся разговоры, я вышел.

На улице было холодно. С крыши пролились на затылок капли росы. Какая стояла тишина! Ночью в Долине можно было почувствовать, как за домами и за хозяйственными постройками созревают почвы, темные и простые в своей сути; и они требуют тебя — чтобы ты их обрабатывал, чтобы ты их любил, чтобы ты был им предан, как божеству. Трудные здесь места, в Долине. Слишком ярок свет днем и слишком мрачна темень ночью. Небеса здесь ночью застывают, как заколдованные.

Основательно продрогнув, я вернулся домой в свой угол, хорошо согрелся в своей постели и безмятежно проспал до утра.

Это было утро обычного дня. В утреннем сумраке я увидел Шуламита. Она была уже одета, на ней было ее лучшее платье.

Я встал, чтобы пожелать ей счастливого пути. Ее глаза встретились с моими, она смотрела прямо, уверенно, не отводя взора, затем повернулась ко мне спиной, замкнутая, неприступная как крепость. Я вышел, не сказав ни слова.

Вечером я взял дочку, чтобы немного погулять с ней. Уже давненько мы так не наслаждались тихими вечерами. Когда стемнело, мне пришла новая идея, и, посадив девочку на плечи, я стал обходить одну за другой квартиры ветеранов, как командир, делающий смотр своим войскам. Анат могла сосчитать по пальцам ветеранов, которые у нас еще остались.

Арье Нахира, старейшего нашего кибуцника, мы видели в окне его квартиры — высокий асимметричный силуэт. Он глядел в нашу сторону, но не замечал нас, проходящих по освещенной дорожке. Мы повернулись и снова прошли мимо его окон. Девочка что-то беспечно лепетала, и я ей не мешал. У Шмуэля и Ривки Арци заперта дверь и жалюзи приспущены, но их квартира освещена изнутри. Мне показалось, будто они подвели все итоги и сейчас считают оставшиеся дни... Но у Авраама Томара в квартире было темно. Мне стало страшно. "Может быть, он уснул?" — подумал я.

В эту минуту мелькнула мысль, что, может, лучше, что мой отец всех опередил и умер раньше других, оставив после себя только вдову и нас. Ему было хорошо, потому что он не видел "конца дней" * — далекого будущего.

По пути мы зашли к моей матери. К счастью, она не принадлежала к ветеранам, и их путь в жизни не был ее путем. Земля не привязывает ее к себе. Поэтому я предпочел вообще не рассказывать маме о том, что ушла Шуламита.

Только позднее, ночью, в нашей комнате, оставшись в одиночестве, я громко рассмеялся. Я понял, что задумала Шуламита. У меня она научилась и поступила так, как поступаю обычно я, возложив все свои надежды на время. Но я, в отличие от нее, подчинялся времени, доверив ему все свои дела, смиренно дожидаясь своего часа. А вот Шуламита решила применить силу, она хочет ускорить желанные перемены. Посмотрим же, кому из нас двоих улыбнется время.

* Известное изречение пророка Исаяи (гл. 2, стих 2), предсказывающего события грядущих дней.

3.

Две недели Шуламит отсутствовала.

Изредка, только изредка я ощущал ее отсутствие. Несколько раз ловил себя на том, что размышлял примерно так: как хорошо было бы, если бы ее отсутствие безмерно затянулось, и таким образом удалось бы покончить со всей этой осточертевшей историей. Но эту мысль я отвергал с ходу. Эта мысль принципиально противопоказана моим планам. Однако она почему-то все время возвращалась все в той же формулировке: как хорошо было бы, если...

С того дня, как Шуламит уехала, я расстался с Нирой. Вовсе не потому, что меня стало одолевает чувство раскаяния. Но когда Шуламит отсутствует, это все выглядит по-иному. Этот вопрос тяготил меня несколько дней, пока он не разрешился сам собою. Сия девица вдруг стала очень обидчивой и даже позволяла себе дерзить и говорить колкости. В моем возрасте и в моем положении я вовсе не обязан вникать в смысл насмешек легкомысленной девчонки из НаХЛ. Тем более что мы со всем покончили.

— Если чешется язык — можешь болтать, — сказал я ей, — только тоном пониже.

Но во время работы она стала приставать ко мне, хватать за плечи, лнуть. Однажды она сзади навалилась на меня своей грудью и начала хихикать мне в ухо. Соблазн был велик...

— Хватит! — отрезал я решительно. — Что я, твой муж, что ли?

Назавтра она не явилась на работу. Это меня огорчило. Выходит, уже вторая женщина за столь короткое время покидает меня. А я остаюсь торчать, как одинокий путник на дороге. И еще одна мелькнула мысль: с какой легкостью закончилась эта история. Я Нирой больше не интересовался, не заходил даже в лагерь НаХЛ, чтобы повидать ее. Твердо решил: прочно стоять на ногах, обрести независимость. Если я иногда ощущал отсутствие Ниры, то это были минутные вспышки страсти во время полевых работ. Но в поле я се-

бя чувствовал достаточно прочно, и тут мне не угрожала опасность.

В кибуце со мной все очень предупредительны и осторожны. О Шуламит никто не заикнется даже, а это само по себе хороший признак: ведь все хорошо разбираются в сути дела. Наши близкие друзья, особенно женщины, оставили меня в покое, они смотрят на меня, как на чудака, за которым лучше наблюдать издали. Меня очень устраивает их молчание, и мне самому приятно молчать. Я как бы замкнулся в своей скорлупе. Моя мать ведет себя осторожно, пытливо пронзает меня глазами. Но от нее мне всегда легко увильнуть, хотя мать это мать и она вправе все знать. Но я неразговорчив. Время покажет и все само решит. Вот моя доченька, кажется, успокоилась. Она сейчас хорошо спит по ночам. А Узи поглощен футболом, и это хороший и обнадеживающий признак того, что третье поколение в кибуце вырастет здоровым и простым, избавленным от наших комплексов вины по отношению к своим родителям.

Все оставили меня в покое и как будто ждут, чтобы я пришел к ним и все им разжевал. А я не обязан идти и исповедаться ни к кому на свете. Я всех оставил, кроме ветеранов. Мое место сейчас в поле. Только там. Вполне сознательно, по моей доброй воле. И мне надо быть одному.

Я работаю на земле. Деревья пускают ростки, на ветках появляется завязь. Более густая тень падает сейчас на землю. А запахи такие, что мне хочется взять в обе руки комья земли и месить их. Работа мне по душе, и я остаюсь на поле до позднего вечера. И, не снимая спецовки, иду за дочкой. Мне удастся пройти к детям*, не задерживаясь и ни с кем не обмениваясь взглядами. И вместе с моей девочкой я навещаю в квартиры к нашим старикам. Иногда я всматриваюсь в их лица. Случается, что в их квартирах темно, и меня тогда охватывает какой-то сладкий озноб: чувствуешь, что время делает свое, оно неизменно движется вперед.

* В кибуцах дети, как правило, живут отдельно от родителей в специальных помещениях.

Я отвык от людей. Единственный, с кем я сблизился, был Арье Нахир. Как-то я стоял у входа в его дом. Моя дочурка звонко рассмеялась, глядя на старика. Он легонько пощекотал ее. Мне показалось, что ему хочется, чтобы мы немного побыли с ним. Так я подумал. В последнее время мои чувства обострились.

И когда он стоял предо мной на дорожке, ниже меня на целую голову, я увидел, какое у него высохшее тело. Его суставы были сильны и жестки, как сучья, лицо было замкнутым, а у края губ шли упрямые складки. Очень странно, что еще в далекие минувшие дни, когда были совсем другие времена, когда Арье Нахир громогласно требовал от всех осуществления на практике идей коллективной жизни, он мне казался очень старым и выдающейся личностью. Как мне подсказывает память, Арье всегда был таким, не подвластным никаким переменам; он всегда был старым, таким и остался. И еще: хотя я выше его, я смотрю на него снизу вверх. Вовсе не потому, что его слова мне кажутся очень значительными. Арье Нахир был первым, кто стал обрабатывать земли Долины.

В последующие вечера, когда мы проходили мимо его дома, Арье уже ждал нас, стоя у входа. Он был очень ласков с девочкой и ждал, что я заговорю. И, к своему удивлению, я начинал говорить и рассказывал ему о том, что сейчас происходит на полях. Я знал, что ему это интересно.

А однажды старика не оказалось у входа. Мы зашли к нему в дом. Он лежал, вытянувшись в постели, и удивился, увидев нас. У него была большая ладонь и растопыренные пальцы. Сквозь кожу проступала желтизна. Я взял его руку в свою и сказал ему, склонившись к уху:

— Держись, Арье. Ты поправишься. Нет у нас в кибуце другого Арье Нахира.

А он, прикрыв свой беззубый рот (протезы были вынуты), что-то прошептал почти беззвучно. Я согнулся, чтобы услышать. Он улыбался мне пустым ртом, и улыбка эта была ужасной. И я услышал отчетливый шепот:

— Хватит. Сколько еще можно?

Я уговорил Анат называть его дедушкой. Было видно, что это его радует. Потому что, состарившись, Арье остался один. Два его сына покинули кибуц. У него здесь остался только я. А он навсегда остался моим.

О, если бы эти дни тянулись подольше! Состояние неопределенности очень отвечало моему нынешнему настроению. Все впереди, все возможно. Можно жить одному, молчаливо и без особых огорчений. Возможно, что Шуламит вернется, готовая начать жизнь заново. Возможно, я напишу ей письмо. Возможно, поеду повидать ее. Большое количество возможностей нейтрализует друг друга, и я остаюсь в старом, довольно уравновешенном состоянии.

С другой стороны, множество открытых путей возбуждает мою фантазию. Почему, дивлюсь я, все другие варианты я отбросил, а избрал один, обрекающий меня на одиночество и замкнутость? Ведь все возможно, почему же вышло именно так?

Если напрашивался какой-то ответ, то лишь для того, чтобы отвлечь мое внимание. Я прикидывал разные ответы. Странно, но я успокоился лишь тогда, когда обратился к банальному слову "судьба". И я говорю самому себе с улыбкой, значение которой мне самому непонятно: так угодно было судьбе. И все.

4.

Меня очень устраивало состояние неподвижности, поэтому я и повторял так часто слово "судьба".

Но в это время внезапно приехала Шуламит с пустыми чемоданами.

Когда я вечером вернулся с работы, открытые чемоданы стояли посредине комнаты, и Шуламит в дорожном платье упаковывала детские вещи. Когда я вошел, она выпрямилась и прервала работу. Меня невольно заставили отпрянуть ее глаза, сухой взгляд, источавший открытую неприязнь и вражду. Может быть, мы и обмолвились несколькими фразами о разных пустяках, а может, и не открывали рта — не пом-

ню. В первую минуту была какая-то неопределенность. Потом она повернулась ко мне спиной, демонстрируя свою ненависть, и занялась чемоданами. Ее движения были резкими, угловатыми, мне слышался в них зубовный скрежет.

Да, я все понял. Неожиданность меня как бы парализовала. А может быть, дело тут в другом — ведь, по сути, особой неожиданности и не было. Я имел все основания ждать, что случится именно так, и, собственно говоря, хотел этого. Во всяком случае, я мог воспротивиться. Не знаю почему, но я ничего не предпринял. Судьба.

В наших отношениях отныне появилось нечто новое: в конфликт были втянуты дети. Это, считал я, недостойное отклонение от правил игры. Шуламит привезла детям подарки. Анат убаюкивала большую куклу, а Узи надувал новый футбольный мяч. Я был рассержен не на шутку. Это же открытый подкуп! Но я пожалел детей. Ушел из дома без них и посидел возле Арье. Затем я бродил за оградой кибуца и незаметно дошел до лагеря подразделения НаХЛ. Бараки были освещены, и там копошились солдаты и солдатки. Все были в форме, я не смог распознать среди них Ниру и ушел в темноту. В нашу комнату я вернулся поздно ночью.

Эта ночь была тяжелее всех прочих. Шуламит вела себя так, будто я вообще не существую. Проходила мимо в тонкой ночной рубашке, и ее гибкое тело слегка вздрагивало, когда она двигалась. За то время, что Шуламит была в городе, лицо ее округлилось, волосы стали более пышными, и казалось, что она помолодела, и моя изголодавшаяся плоть болезненно ныла. Я не шевельнулся в своем кресле. Она прошла мимо и погасила свет. Я слышал, как она дышит. Я слышал, как она задремала. Подошел к ее кровати, встал на колени и положил свою голову на подушку возле головы Шуламит, не касаясь ее. Я был весь в напряжении. Потому ли, что было темно и ко мне доносился аромат ее тела, или потому, что наша кровать знала много хороших ночей, но у меня мелькнула счастливая мысль. Правда, она пока была как бы в тумане. Новая идея показалась очень заманчивой. Суть ее — еще один ребенок. О подробностях следовало подумать.

Я был очень сдержан. С открытыми глазами, остерегаясь приблизиться к Шуламит, я тщательно обдумывал и мысленно развивал новую возможность. Внезапно Шуламит повернулась и протянула ко мне свою руку. Я беззвучно ускользнул на свое кресло.

Утром, уходя на работу, я оставил дверь открытой. В эту минуту я услышал чуть хриплый голос Шуламит:

— Ты знаешь, Ре-у-вен, где сможешь нас найти, когда захочешь.

Разумеется, я знаю. И, как обычно, спокойно уйду работать в поле.

Теперь все время было в моем распоряжении. Все зависело от меня одного. Ради душевного равновесия я решительно отклонил всякого рода скороспелые реакции. В Долине наступила пора гнетущего летнего зноя. А у нас летом самый разгар работ. Бесконечно длинная страда, когда не ждешь никаких перемен. Летом в Долине во время изнуряющей жары очень далекой кажется осень — пора перемен.

Но вот настал сезон сбора фруктов. Работы у меня было невпроворот. На плантации появились наемные рабочие с огрубевшими сердцами, они, как и раньше, предпочитали молчать. Но когда дело горит под руками, время бежит быстро. Во всяком случае, все меня слушаются и выполняют мои указания, но это само по себе не имеет для меня особого значения. И какую бы я ни делал работу — на уборке ли фруктов, на сортировке ли, на упаковке ли, я своей новой идеи не забывал. Ни на минуту не перестаю о ней думать, и постепенно мой план обрастает деталями, и в конце концов все начинает казаться предельно простым.

С одной стороны, предположим, преждевременный уход из кибуца. Но ведь всегда есть возможность вернуться в нужное время. Еще в поле я обдумывал этот вариант с возвращением. Надо лишь дожидаться подходящего часа. Только не идти против течения, а двигаться вместе со временем. В этом направлении я и действую. Работаю тяжело, но спокойно и уверенно, и такая работа помогает человеку устоять на ногах, и время проходит быстрее.

А в результате за моей спиной стали шептаться: бедный Реувен, он работает как вол, чтобы забыться. Я ощущал это всеобщее сочувствие и мысленно посмеивался. Когда работаешь физически, ничего не забываешь. Думаешь тогда особенно напряженно и все, все помнишь. Случалось, во время зноя, когда я двигался между зыбкими тенями под серыми деревьями, я вспоминал себя растянувшимся на земле среди зеленых трав, в тишине, вдыхающим запах влажной земли рядом с разгоряченной девчонкой. И я глотал слюну и продолжал работать. Я не грущу и не сожалею. И зной меня не очень тяготит. Мне по душе эта медлительность и отягощенность в природе. Я работаю до самой темноты. Летние вечера занимают добрую четверть ночного времени, и нет лучшей поры для работы и размышлений. Спокойно и неторопливо я все обдумываю. Наступающая темень застает меня в поле одного среди ящиков с фруктами.

Но эти ночи... Ночью надо кончать работу и идти домой. А комнаты нашей квартиры полны летней пыли, и в них затхлый запах. И надо еще зайти в столовую. И всюду люди. И эти взгляды... И шепот... И мама... Как избежать встречи с матерью? Проще всего закрыть дверь на ключ, но меня тянет на улицу. И я брожу, прячась в тени домов, и кружу, кружу... Ночи сейчас очень теплые, все высыпало на улицу, и я обхожу всех сторонами, чтобы повидать моих стариков. Я вижу их по ночам в освещенных комнатах, они в состоянии ожидания, как и я.

Я знаю, это их последние дни. По лицам ветеранов я вижу, что они хотят умереть этим летом, которому не видно конца. Давно ко всему равнодушные, они бессмысленно примирились с небытием и при полном сознании готовы уступить смерти. И я заклинаю их в темноте, как чародей, чтобы они не умирали раньше времени, потому что нет у нас других ветеранов, и здесь, в этих местах, я призван охранять их во время летнего зноя. Обождите, старики, до осени, хотя бы до осени. Осень — пора перемен.

В эти ночи я благодарен усталости. Если бы не та огромная работа, что я проделал за день, я не мог бы свалиться обессиленный в этой загроможденной вещами комнате, обретшей

вид холостяцкого жилья. В моем возрасте, по-видимому, человек нуждается в душевном покое. Легче притупить ноющую боль здорового и теплого тела, когда ты смертельно устал. Спишь тогда мертвым сном и на холостяцкой кровати, не хуже, чем на двуспальном ложе.

5.

Нас вызвали в разгар уборки.

Я был молчалив. Когда ничего нельзя изменить, я предпочитаю тишину. Скончался Арье Нахир, и никто из кибуцников не присутствовал в его комнате во время кончины. Я пошел рыть могилу среди маслин на участке кладбища, отведенном для ветеранов.

На похороны пришло много народу. Когда все разошлись, я один остался у могильного холма и собирал лопаты, разрыхлял твердые комья. Букеты цветов я разложил в форме венка. Пока я находился на кладбище, я не испытывал особой печали. Напротив, я как бы перестал думать и чувствовать. Я был очень спокоен, и вот доказательство. Там, у могилы, я понял, что настало время действовать и больше не следует откладывать. Арье скончался, а до осени еще далеко. Я стоял среди запахов разрытой земли, между маслинами и памятниками (среди них был старый памятник моего отца), в зеленоватом свете, который процеживался сквозь редкие кроны деревьев, в духоте и жаре, что источала земля, и набирался сил для будущих действий.

Все продумав, я поспешил домой. Сообщил, что ухожу в отпуск. "Только на короткое время", — пообещал я. На то время, что буду отсутствовать, найдут для меня замену на плантациях. Я не ждал, чтобы кто-то утвердил мой отпуск. Ощущение того, что я выполняю важную миссию, гнало меня в путь-дорогу. Я чувствовал себя примиренным, как после разрядки. Такая уверенность бывает лишь тогда, когда веришь в свою судьбу и считаешь своим долгом подчиниться ей.

И я прибыл к Шуламит — побритый, постриженный, в своем субботнем, выютоженном костюме и с большим очень солидным чемоданом, свидетельствующим о моем намерении надолго здесь остаться. Я не держал речей, но мои слова, обращенные к ней и ее родителям, в которых звучало столько тепла и тоски, произвели большое впечатление. Такие излияния сделали бы честь и большим эрудитам, чем я. Мой замысел подсказывал мне нужные слова. И дети оказали мне большую помощь в осуществлении моих планов. Они очень соскучились по дому, и я своей собственной персоной привез им частицу прежнего домашнего уюта и тепла. И в большой, чистой и чужой мне квартире повеяли добрые ветры.

В красивом салоне мы пили кофе. Было пять часов вечера. Прикрытые жалюзи, плотные занавеси и тихое жужжание кондиционера способствовали созданию хорошей семейной атмосферы. Я не переставал оживленно беседовать с ее родителями. Вообще-то говоря, они меня недолюбливали, и я платил им тем же. На сей раз они стали моими верными союзниками. Мои личные планы полностью соответствовали их тайным планам. А присутствовавшая при этом Шуламит не разобралась в обстановке.

Шуламит не смягчилась, она только была ошеломлена моим неожиданным появлением. Она сидела прямо на диване, ее ноги в туфлях на высоком каблуке и в темных прозрачных чулках были очень красивыми и молодыми. И это тоже благоприятствовало моему плану. "Мне явно улыбается удача", — подбадривал я самого себя. И я стал пространно объяснять ее родителям, почему я так долго ждал и не приехал за Шуламит сразу же после того, как она покинула меня. Ведь они-то хорошо знают, что такое ответственность: время сбора урожая, а я отвечаю за целую отрасль, и как бы тебе ни было тяжело, долг — на первом плане, а уж потом — личное счастье.

Затем, когда нас, как бы невзначай, оставили одних, я сумел польстить и Шуламит: очень, мол, благородно с твоей стороны, что ты не празднуешь победы. Вот ты добилась своего. Я здесь. Я готов.

И что так задело ее душу, что она запрыгала вокруг меня, как кузнечик? Она мне обещала. Она меня утешала, хотя не преминула и упрекнуть. Потом немного всплакнула. Я обрадовался, когда она всплакнула. Плачущая, она была мне ближе, а ведь всячески ее приблизить входило в мои планы.

Вечером мы сидели на веранде, выходящей на улицу. Дул ветерок. Сверкали звезды. Мы чувствовали запах моря. Более того: на этой улице она росла, тут она играла в классы, тут впервые ощутила вкус поцелуя — иначе говоря, именно тут она была настроена более сентиментально. И это я тоже принял во внимание. Я осторожно привлек ее к себе, и она оперлась о мое плечо. Потом мы долго и умиротворенно молчали, погруженные в размышления. Затем я тихо начал свою "исповедь". Я ведь решил полностью примириться. Она вправе была винить меня, как ей вздумается (а она как раз склонна была винить себя. Очень важный момент!). И я сдался на милость победителя... Я был весь в ее власти. И когда она торжественно провозгласила изменившимся голосом: "Я очень рада, что ты приехал. Руби", это ласкательное "Руби", несколько раз повторенное, свидетельствовало о многом.

А когда мы ночью остались одни в комнате, которую отвели нам ее умные родители, я был мягок и застенчив, как юноша, ни разу не согрешивший. И Шуламит поглядывала на меня с опаской. Это была очаровательная скромность. Мы были подобны двум возлюбленным в их первую брачную ночь. И тогда с полной несомненностью прояснилась цель всех моих поступков (эту мысль я лелеял долгое время), и я действовал по принципу: если тебе улыбнулось счастье — не упускай мига удачи!

Мною овладела страсть изголодавшегося мужчины. И я обнаружил, что Шуламит голодна и измучена не менее моего.

Назавтра я расположился у ее родителей, как в собственном доме. Содержимое своего огромного чемодана я расставил по полкам разных шкафов. Ничего определенного не было сказано, но в отведенной нам комнате мы сдвинули свои постели и наслаждались вволю. Мы не могли насытить-

ся, как после долгого поста. И каждую минуту я готов был поддаться соблазну, благо судьба мне благоприятствовала.

Ее добрые родители молча наблюдали за нами, и в их взглядах чувствовалась озабоченность. Я понимал ее причины и мысленно их успокаивал. Да, я с большим аппетитом поедал их вкусные завтраки, обеды и ужины, чтобы восстановить свои силы. Да, они охраняли наших детей, когда мы отдыхали в закрытой холодной комнате на своем просторном ложе. Но ведь не здесь, в этом прекрасном доме, я разбил свой шатер. Не иначе, как из-за сильной усталости я так долго спал. Страдная пора истощила, мои силы. И Шуламит тоже.

Любопытно, что в течение тех семи дней, которые мы провели попеременно в постели, на берегу моря, на ночных аллеях, в зоосаде, обнимаясь и радуясь, как вольные птицы, она ни разу ни одним словом не вспомнила маленькую Ниру. И не интересовалась тем, что я делал во время ее отсутствия. И не спросила ни об одном кибуцнике. Будто я был камнем, который выкопали на поле и откатили в сторону. Не скажу, что я был обижен. В сущности, что от этого менялось? В моем возрасте у меня уже выработался иммунитет против иллюзий. А с другой стороны, я ни на мгновение не забывал выпавшей на мою долю удачи. Уверенно и точно я обхаживал ее, сильный и страстный. Я насыщался ее ласками. Это были семь прекрасных дней и ночей.

В последнее утро, за завтраком, когда мы пили кофе, я вялым голосом прочел родителям краткую лекцию о долге, который лежит на тех, кто стал на путь добродетели. Я напомнил им, что из-за тоски по жене и детям я оставил кибуц в разгаре страды и на мне лежит долг завершить начатое дело. Глаза у стариков заблестели. Они особенно ценили в людях такое качество, как чувство ответственности.

— А пока что я оставляю свою семью у вас, дорогие родители, — продолжал я мягко.

Старушка что-то пробормотала старику по-польски, а Шуламит внезапно испугалась и как-то странно смотрела то на меня, то на них. Хорошо мне знакомые упрямые морщинки пролегли от ее ноздрей по щекам. Как я любил ее в этот час!

Когда я начал упаковывать свой чемодан, она вошла. Что-то ее мучило, и она остановилась, в растерянности глядя на меня. Я очень нежно подошел к ней и осторожно погладил ее горестные морщинки. Не было необходимости долго говорить. "До свидания, — сказал я ей. — До скорой встречи!"

Дети вскочили и хотели ехать домой вместе со мной.

— Нет, дорогие! — читал я им нотацию в присутствии матери. — Мама пока не разрешает. Мама и я знаем что делаем, и все только для вашего блага, дети.

Наши ветераны любят повторять русское выражение — "Это длинная история, так начнем сначала!".

Я вернулся домой, и все начал сначала.

Лето в этом году переливалось через край. Когда стоит такой нестерпимый зной, безо всяких перемен, когда бесконечно чередуются совершенно одинаковые бесконечно длинные дни, все возможности находятся под сомнением. Как еще далеко до осени! И я снова впрягся в работу. А о своих личных делах даже перестал думать. Я нашел для себя новое утешение — в ожидании.

Более месяца я ждал, надеясь на удачу. Как известно, не следует начинать отсчет девяти месяцев до того, как прошел первый месяц. И когда пришла от нее открытка, я не удивился. Ведь я ее ждал.

Шуламит писала со смирением, как бы признавая справедливость рока. Она признавалась, что снова беременна. Это совершенно несомненно. Она меня не обвиняла и не употребляла суровых слов. А в конце был долгожданный вопрос: а что сейчас с нами будет?

Я все еще был тих и внимателен. Долина Иордана — трудное место. Формы жизни здесь определены окончательно. Судьба его жителей движется по замкнутому кругу. И с этой судьбой надо примириться и принять ее смиренно, как земля принимает нестерпимый летний зной. Без особой радости и без пронизывающей печали. Шуламит слишком умна, чтобы самой принимать поспешные решения. Если бы она знала, какой она кажется мне соблазнительной по вечерам!

В полученной весте ее горькая печаль граничила с моей утонченной радостью, что не говорит в мою пользу. Но меньше всего меня радовало горе Шуламит. Я вовсе не мечтал ее видеть побежденной. Я и не надеялся на то, что она прекратит борьбу. Я радовался удаче, которая откликнулась тому, кто ее звал.

Незаметно придет осень. Дни уже стали короче. По стерне прошли тракторы. Шуламит все шлет мне письма. Я не отвечаю. Писать — значит еще более распалая себя. Вызывать в себе тоску. Да, тоску. Только работа, как всегда, дает мне удовлетворение. На поле, в обновленной тишине, в уединении, когда осень идет к концу.

Перед сезоном дождей скончался Авраам Томар. Я возил-ся с его могилой и, когда вернулся домой, с большим усилием поборол внезапно охватившее меня сильное желание поехать к Шуламит. Мне вдруг страстно захотелось быть с нею, с детьми. Я запер дверь и улегся на нашу неприбранную кровать в нашей запущенной комнате, свидетельнице превратностей времени. Признаюсь, что я представлял себе Шуламит в ее нынешнем состоянии. С большим животом, с лицом в желтых пятнах и с еще более покрасивевшими глазами. Я думал о том, как она приедет ко мне. А если не приедет — пожалуй, я напишу ей, чтобы вернулась. Потому что уж близятся сроки. Потому что ветераны умирают один за другим. Потому что мы не становимся ни моложе, ни счастливее. А если она приедет, я не забуду того, что обещал. Пусть она побудет в наших местах только временно. Всегда только временно. А в наши счастливые минуты пусть она мечтает о собственном маленьком доме в благоустроенном пригороде, и ее печальный голос отзовется в моем сердце. А завтра во время очередной ссоры, мы переступим и через это, и перемены, которых мы ждем, все еще будут маячить впереди. Как у репатрианта, что прибыл с грудным ребенком, с женой и еще двумя детьми. Может быть, начнем все сначала. А может быть, и не начнем. Может быть, мы смиримся с выпавшими на нашу долю тяготами. Может быть, победит Долина.

Я приноживаюсь к воздуху и чувствую приближение дождя. Земное притяжение во мне очень сильно, потому я здесь

так укоренился. Дни — как гигантские качели, а я — та постоянная ось, вокруг которой они вращаются. Но моя сила не иссякла, она лишь закалилась. Потому что эта Долина — трудное место. Она закаляет и делает стойким.

Все это верно, — говорю я себе. Но пока человек верен своей судьбе, перед ним открыты все возможности.

Перевел с иврита

А. БЕЛОВ

**ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ
ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ**

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"

**ВЫХОДИТ В НЬЮ-ЙОРКЕ, США
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ СЕДЫХ
66-й ГОД ИЗДАНИЯ**

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО" РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЕТ ДОКУМЕНТЫ САМИЗДАТА, ПРОТЕСТЫ ИЗ СССР, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУЧШИХ ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИЦИСТИКУ И ПР.

**ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 45 ДОЛЛАРОВ В ГОД;
25 ДОЛ. - 6 МЕСЯЦЕВ
ВОСКРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ ТОЛЬКО: 20 ДОЛ. В ГОД
ГODOVAYA ПОДПИСКА ВОЗДУШНОЙ ПОЧТОЙ
(ПАЧКАМИ ПО 6 НОМЕРОВ) : 130 ДОЛЛАРОВ В ГОД**

ПОДПИСКУ С ПЛАТОЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

"NOVOE RUSSKYE SLOVO"

243 WEST 56 St., NEWYORK, N.Y., 10019 USA.

ЛИРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ

А. ХВОСТЕНКО

ВОЙНА КОТОВ И МЫШЕЙ

Трудно поверить,
Но в городе Луге
Коты по ночам
Надевают кольчуги

В канавах их мыши
Со шпагами ждут,
Спокойно прохожу
Котам не дают

Мышиное войско
Отважно и смело,
Есть ружья у них
Есть и луки, и стрелы.

Есть копья, рапиры,
Мортиры и пушки,
У каждого шлем
На мышинной макушке.

И вот по ночам
Слышит все население,
Как в темных кварталах
Грохочет сраженье.

По улицам стало
Опасно ходить —
На рыцаря можно
Впотьмах наступить.

На хвост офицера
Отважного войска
Из тех, что с котами
Дерутся геройски.

По улицам с топотом
Мчится пехота,
Храбрые мыши
Хватают кого-то.

Я видел,
Как двое котов-крепышей
С трудом отбивались
От сотни мышей.

И даже собаки
Соседних кварталов
На эти сраженья
Глядят из подвалов.

Е. ДУБНОВ

* * *

Не коснуться — стопой ли,
 Ладонью ли — дна.
 Но проникнуться болью
 Дождливом дня,

И в прозрачную темень,
 Спутав с небылью быть,
 Вверх по берегу Темзы
 Сделать несколько миль.

Как полуночью лодка
 Посредине реки,
 Близок сумрачный Лондон,
 Но огни далеки.

Далеки, словно летний
 Кесарийский рассказ.
 Словно взгляд от коленей
 Синих жалобных глаз,

Словно плечи, что плачут
 На другом берегу...
 Но ответить иначе
 Снова я не могу.

Лишь, в глазах неприветлив,
 Роя мокрый песок,
 Я все медлю, все медлю
 Запечатать письмо...

И опять это лето
 Над Европой горит.
 Под крылом самолета
 Парос, Родос и Крит.

Отвернусь ли, услышав,
 Что обида прошла?
 Даже ложь стала слишком
 Для меня тяжела.

Мне бы самую малость
 Торопливого дна.
 За душою осталась
 Только боль и вина.

Но сносимый теченьем,
 Я ударюсь о дно
 И пойму — возвращенья
 Мне не будет дано.

Е. ГЕФТ

* * *

При чем тут, собственно, Дантес
 и заговор, и свинство?
 Не тот, так, стало быть, Данзас
 или дантист из Двинска.

Что неуверенность в руке
 и сплин, и непогода?
 Ведь смерть его
 в любой строке
 тридцать шестого года.

* * *

солнца медленной арбе
 все равно в какой борьбе
 А упало
 Б пропало
 все равно в какой трубе
 бег воды биенье бред
 из стакана в море лет

солнца медленной арбе
 что паденья
 что преданья
 есть неясное задание
 на бассейны
 А и Б

Д. ФОГЕЛЬ

* * *

В сутолке дневной
 Идет сквозь ревушую улицу
 Очень пугливая курица
 В городе милом и дальнем,

А где-то поближе к вечеру
 Пронесутся два ряда каштанов
 В направлении тишины:
 Их речи залиты ночью.

Мы с тобою тихо ступаем
 По луною шитым коврам,
 Уже мы успели скинуть
 Лохмотья тяжелого дня.

А когда потаенный возница
 На ночь замахнется кнутом,
 Мы вновь налакаемся вдоволь
 Белизны промелькнувшего детства.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

Автобиографическое повествование в двух книгах

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА ПЕРВАЯ
 "ИЛЛЮЗИИ", 232стр.»

Содержание:

Москва. Тридцать седьмой
 Нарышкинский бульвар
 Война
 Томск
 Я немец
 Кедрач
 Мой двойник Кирилл Патрикеев
 Весна в Быкове
 Наш незабвенный ОРС
 Заверяем товарища Сталина
 Будущий Плевако
 Письмо братьям-корейцам
 Грозный мэтр Вышинский
 Кающиеся большевики
 Дело Алика Бакмана
 Перед закрытым шлагбаумом
 Бухгалтер-гипнотизер
 Как я редактировал сельскохозяйственную газету
 "Великий заботник"
 "Улыбка" Терехова
 Чиновное счастье
 Мой партийный падре
 Бунт в ЦДРИ
 "При, их молчаливом согласии..."

Книга продается — в Тель-Авиве: в магазинах Болеславско-го и Лепак, Сдерот Асефер (ул. Алленби, 116), в супермаркете Амашбир Лецархан (ул. Алленби, 115), в Иерусалиме: в супермаркете Амашбир Лецархан (ул. Кинг Джордж), в магазине "Дар", в Хайфе: в магазинах Лепак и Бронфмана (на Центральной автобусной станции), в Реховоте (на Центральной автобусной станции) .

Стоимость в магазинах 27 лир, а при покупке в редакции — 23 лиры, с пересылкой по почте: 24 лиры, 10 аг. Чек высылать по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив.

*Вторая книга "Крушение" выходит в феврале 1977 года.



ПОЛИТИКА
ПУБЛИЦИСТИКА
ФИЛОСОФИЯ

Михаил ЛИДЕР

АФЕРА, ИЛИ ДЕЛО, КОТОРОЕ ТЯНЕТСЯ 22 ГОДА

(Окончание. Начало см. в №№ 11, 12)

ТАЙНАЯ ВОИНА

Все, о чем рассказывалось в предыдущей главе: "подвиги разведчика" Аври Элада в Европе, его арест, суд над ним, показания, пролившие новый свет на организацию "Гиблого дела" и сговора против Лавона, — происходило в глубочайшей тайне: ни малейшего намека на все это в печати тех лет.

Года полтора спустя, в разгар политической бури вокруг "Дела Лавона", стало известно, что сразу после ареста Элада — в конце 1957 года — была назначена тайная комиссия, чтобы расследовать не само "Гиблое дело", не ответственность за его проектирование и проведение в жизнь и, уж конечно, не подлоги и сокрытия документов, а всего лишь технические подробности провала операции и роль Элада в этом провале. Полковник Ариель Амиад, глава комиссии (впоследствии заместитель мэра Тель-Авива), допросил Элада в тюрьме; тот, надо думать, выложил перед ним все, что показал потом и на суде; председатель комиссии даже предупредил Иоси

Гареля, преемника Мордехая Бен-Цура на посту начальника спецподразделения № 131, что его допросят тоже, но до этого дело почему-то не дошло. Лишь недавно стало известно, что комиссия пришла тогда к выводу об отсутствии достаточных улик, чтобы пришить Эладу еще и это дело. Оно и понятно: единственные свидетели, которые могли дать показания о его не только неосторожном, но прямо-таки вызывающем и в высшей степени подозрительном поведении в Каире, сидели в египетских тюрьмах. И, похоже, в разгаре политических интриг вовсе забыли о их существовании.

Их Амиад допросить не мог, да и особой охоты, видно, ни у кого не было. Ибо возможен был и такой вариант: получив от Бен-Цура задание в июне 1954 года, Элад, опытный разведчик, не мог не заметить того, что сразу заметил, скажем, Бен-Гурион, когда Даян доложил ему о провале операции, а именно, что она неминуемо должна была провалиться. Просто, не может быть, чтобы Элад хотя бы не спросил у Бен-Цура: "А достаточно ли у ребят взрывчатки, патронов, есть ли у них убежище, паспорта? Приняты ли какие-нибудь меры на случай провала и так далее?" Такой разговор, видно, состоялся, хотя Элад об этом и не пишет в своей книге; видно, и меры были приняты, но только для обеспечения безопасности самого Элада. Не забудем, что к тому времени Элад успел проникнуть в высшие круги Египта, и не только вошел уже в контакт, но и сдружился с Османом Нури, заместителем начальника военной разведки Египта. Обо всем этом он доложил Джибли после своего "благополучного" возвращения из Каира.

"Как начальство "купило" у него этот рассказ — это особая статья, — пишет Авиэзер Голан в книге "Операция Сюзанна", стр. 277, — но факт тот, что его (Элада) в то время ни в чем не подозревали". Он ведь мог и догадаться в ходе разговора с Бен-Цуром, который, повторяем, просто не мог не состояться, о том, что никто не был заинтересован в безопасности ребят. В таком случае, почему же не помочь немножко египтянам переловить "шпионскую сеть" и полностью убедить новых друзей в своей полной надежности? Не исключено, что Элад не просто догадался об этом, но

что именно к этому сводилось само задание: принять меры, чтобы "сеть" обязательно попалась. (Мы помним, что в операции "Бат-Галим", которую тоже провели вопреки Лавону, все так и было.) Элада могли успокоить, хотя вряд ли такой человек, как Элад, нуждался в успокоениях: "Ничего, ребята посидят некоторое время, но мы их потом выкупим, обменяем, освободим так или иначе. Главное теперь — поднять хипеш. И если ты благодаря этому вотрешьсь в полное доверие к Осману Нури, то тем лучше".

Я уже упомянул вскользь, что, если верить дневникам Даяна, недавно вышедшим в свет, он не раз предлагал в 1955 году Бен-Гуриону сделать что-нибудь для освобождения каирских узников. Даян говорил, разумеется, не о дипломатических шагах:

"5. 5.1955: Встреча с министром обороны (Бен-Гурионом).

Нач. генштаба: Нет ничего нового в деле возвращения наших четырех бойцов из Сирии. И есть еще один израильский узник в Ираке.

Бен-Гурион: Что еще за узник в Ираке?

Нач. генштаба: В свое время судили израильских граждан, которые работали там в сионистском подполье и попались; теперь остался только один парень, Иудко Таджар — на каторжных работах в пустыне. Он был там эмиссаром Алии-Бет. И вот, для этого парня в Ираке, а также для узников в Египте, тех, что сидят там после последнего процесса — ну, эта девица Марсель Ниньо и остальные, я предлагаю следующее: сделать так, чтобы в наших руках оказались иракцы и египтяне.

Бен-Гурион: Ирак само собой, и Египет само собой.

Нач. генштаба: В таких случаях, по-моему, лучший способ добиться освобождения наших людей — это сказать им, что у них наши узники; если они согласятся на обмен — что ж, обменяем.

Бен-Гурион: Изучу этот вопрос.

Нач. генштаба: Можете запросить у Исара (Гареля) подробности. То же — и с египетскими узниками.

Бен-Гурион: Это две разные вещи. Ничего общего тут нет.

11. 8. 1955

...Поступил доклад о тяжелом положении каирских узников, находящихся в пустыне Сива. Разработан план операции, которая должна обеспечить условия для обмена. Когда план будет готов, его представят министру обороны".

("Едиот Ахронот" от 6 сентября 1966 г.)

Бен-Гурион так и не дал согласия на проведение такой операции. А жаль, верно, думал Даян. Если бы дал, то взяли бы заложников, как сирийский самолет тогда, обменяли бы их на узников, так бы все и забылось. Но вот Лавон заартачился и испортил все дело. Не согласился уйти по-хорошему, камень держал за пазухой, пришлось от освобождения узников отказаться даже тогда, когда в наших руках был не десяток какой-нибудь заложников, а пять тысяч пленных...

Все это, разумеется, одни лишь спекуляции, но не забудем все-таки, что речь идет о "тайной войне", где такие приемы и ходы — самое обычное дело. Очень и очень может быть, что именно поэтому "афера" и тлела под пеплом так долго, мало у кого была охота заняться ею, и меньше всего у тех, кто по долгу службы обязан был разобраться во всем.

"Но если их душу не разъедали сомнения, то тем безжалостнее терзалась душа уволенного и униженного министра. Хоть он и зарекся выступать открыто, но немногим, которые готовы были его слушать, он твердил неустанно, что на него возвели напраслину, что свидетельские показания, выдвинутые против него — ложные, документы — фальсифицированные. Однако противная сторона упорствовала: ответственность за трагические события лежит на Лавоне, это он отдал приказ и лишь после провала операции пытался увильнуть от ответственности и бросить своих помощников псам.

Пять с половиной лет, прошедшие с тех пор, годы бурных столкновений по многим поводам, отнюдь с этим не связанным, подорвали, может быть, физическое здоровье Пинхаса Лавона, но не его непреклонную решимость доказать свою правоту, в которую он верил, как верит человек в своего Бога.

И нет зрелища трагичнее и патетичнее, чем вид человека, упорно воюющего, почти в полном одиночестве, против крепостной стены равнодушия тех, для кого та история давным-давно кончилась; одиноко и бессильно единоборствующего, хоть и с очень высокого, почти всесильного поста, с платком во рту вопящего о своей невиновности...

...История эта давным-давно кончилась. И это точно. Именно так считали не только его противники — а их немало, и силы у них тоже немало, — но и те очень-очень многие, у которых не было в душе ни капли зла против Лавона. Ему говорили: "Зачем тебе копаться в старых ранах? Зачем снова возбуждать дело, которое давным-давно забыто? Кому от этого будет польза? Была "комиссия двух", два всеми ува-

жаемых, безукоризненно честных человека вынесли решение. На т а к о й нравственный, юридический и общественный авторитет ты смеешь посягать?! Да ведь и не сослали же тебя на "Чертов остров", и в смысле общественном ты тоже получил немалую компенсацию: должность генерального секретаря Гистадрута".

Приведенная выдержка взята из замечательной статьи нынешнего главного редактора газеты "Маарив", Шалом Розенфельда, появившейся в том же "Маариве" в канун Судного дня (30-го сентября) 1960-го года и явившейся, так сказать, первым порывом урагана, признаки которого носились в воздухе с самого Нового года.

За кулисами все началось еще четвертого февраля. Шалом Розенфельд был совершенно прав, когда сказал, что здоровье Лавона было к тому времени уже порядком подорвано. Верно и то, что быть в те годы генеральным секретарем Гистадрута, организации, которая во времена Лавона отнюдь не была тем покорным профессиональным объединением, каким она стала впоследствии, стоять годы целые в самой гуще очень упорных конфликтов и боев, состоять еще и в руководстве правящей партии — все это надорвет здоровье хоть у кого, а тем более у такого горячего человека, как Лавон, отдававшего без остатка делу. Вместе с тем разрушение его здоровья немало ускорила и съедавшая его, ничем не заслуженная обида. В январе 1960 года он перенес очередной инфаркт. И как раз в это время Пинхас Сапир, бывший тогда министром промышленности и торговли, свел его с Иоси Гарелем. Тот еще года два назад (15 февраля 1958 года) уволился из армии. То ли его действительно мучила совесть, то ли почему-либо другому, но он решил снять с души мучившее его бремя. Он еще до этого намекнул Израилю Галили о своем желании, тот дал знать об этом Лавону, но Лавон ответил, что сплетни ему не нужны, а только открытое и четкое заявление, надлежащим образом оформленное. Поколебавшись некоторое время, Гарель связался с Пинхасом Сапиром — или Сапир с ним, — и 4-го февраля Гарель пришел навестить больного Лавона. Выложил он тогда все как на духу: и как, вступив в должность, он столкнулся со следами

подделок и сокрытия документов, связанных с "Гиблым делом", и как его предупредили не копаться в прошлом, а сосредоточиться лучше на будущем, и как он доложил обо всем своему непосредственному начальнику, Иошафату Гаркави, словом — все, что было ему известно. При беседе — уж Лавон позаботился об этом заранее — присутствовал и верный помощник Лавона еще по 1954 году Эфраим ("Эпи") Эврон, заведовавший его канцелярией в бытность Лавона министром обороны, затем занимавший ответственные должности в Гистадруте (недавно он был назначен послом Израиля в Лондоне), который тщательно все записал. Тот же "Эпи", который благодаря своим связям был вхож почти всюду, да еще Леви-Ицхак Хайерушалми, один из самых честных журналистов страны, который в то время работал в службе печати Гистадрута, самоотверженно помогали Лавону чем только могли, главным образом — в добыче информации. Эврон, а через него и Лавон, еще в 1955 году знали все то, что рассказал им Иоси Гарель сейчас, знали они и об аресте Элада, а может, и о его показаниях, но ведь все это было строго секретно, да и не кончился еще суд над Эладом, приговора еще не было, так что пользоваться этим материалом Лавон не мог никак. Даже сейчас, получив в руки такой веский материал, как исповедь "единственного мужчины в армии" (так в порыве восторга назвал его как-то Лавон), последний все еще не решался действовать. Выступая в октябре перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне, Лавон сказал:

"Я даже скажу вам вот какое дело: у меня было решение — по собственной инициативе не обращаться ни к кому".

Лавон знал, что вот-вот будет вынесен приговор по делу Элада, и он рассчитывал, что глава правительства сам проявит инициативу и смоет с него позорное пятно, наложенное на него решением комиссии Ольшан—Дори на основе лжесвидетельства и подложных документов. Но предоставим слово самому Лавону:

"В один прекрасный день — помнится, что это было в первые дни мая, — я был приглашен к главе правительства по поводу забастовки

учителей. До того как приступить к беседе, глава правительства, который был как раз в хорошем настроении, спросил: "Скажи, Пинхас, но честно: ты все еще таишь в душе обиду за то дело?" Я ему ответил: "При чем здесь обида? Но если ты серьезно спрашиваешь, то вот: у меня такие и такие показания". Я ему сказал, о ком идет речь, рассказал вкратце обо всем и предложил: "Назначь сам человека, которому ты полностью доверяешь, пусть расследует". Назавтра я ему передал весь материал, и он действительно тут же поручил полковнику Хаиму Бен-Давиду (своему военному адъютанту; М. Л.) расследовать все, если, конечно, документ дает основания для расследования".

"Хабад" (так сокращенно звали Хаима Бен-Давида в армии) действовал быстро, да и поручил-то ему Бен-Гурион расследовать не само дело, а только выяснить, имели ли место подлоги и сокрытия документов, провел несколько бесед с бывшими работниками разведывательной службы, в том числе и с Иоси Гарелем, и уже дней через пять (10 мая) представил Бен-Гуриону предварительный доклад, в котором говорилось о наличии веских оснований подозревать, что все эти безобразия действительно имели место, но необходимо еще побеседовать кое с кем в Париже. Так как в ближайшее время "Хабад" собирался сопровождать Бен-Гуриона в поездке по Европе, то окончательная редакция доклада была им отложена на время. 13-го июня Бен-Гурион едет наконец в Париж, "Хабад" едет тоже, беседует там с кем нужно, и, вернувшись 27-го июня домой, проводит еще один тур бесед, и садится за составление окончательного доклада, который и представляет Бен-Гуриону 15-го июля. В докладе говорится: " Действительно были произведены изменения в документах разведывательной службы после провала операций в Египте".

(Отрывки из книги Хаггая Эшеда, опубликованные в газете "Гаарец" в феврале 1965 г.)

В июне Лавон выехал в Швейцарию для поправки здоровья. К моменту его отъезда у Бен-Гуриона был только предварительный доклад, и он не счел нужным познакомить с ним Лавона; правда, "Эпи" прознал, что предварительное расследование если и не полностью подтвердило факты, то шло именно к этому. В середине августа суд признал Аври Элада виновным — приговор был вынесен только несколько месяцев спустя, — и Бен-Гуриону ничего не оставалось, как либо тут же реабилитировать Лавона, как он это сделал в деле Тубианского, либо же назначить новое следствие. Бен-Гу-

рион выбрал второй вариант, и после длительных совещаний было решено назначить военную комиссию, которая должна была еще раз расследовать — опять-таки не само дело, а исключительно лишь:

1. Совершили ли "Высший офицер", "Офицер запаса" или еще кто-нибудь в одном военном подразделении какие-нибудь действия, толкавшие кого бы то ни было вообще и "Третьего человека" в частности на дачу ложных показаний перед комиссией Ольшан—Дори, перед министром обороны и начальником генерального штаба, и были ли эти ложные показания сделаны?

2. Были ли внесены какие-либо изменения в документы, связанные так или иначе с расследованием, проведенным упомянутой комиссией; кем именно и по чьему указанию?"

Упомянем вскользь, что тут не обошлось без вмешательства Гареля, начальника "Мосада". Как только 21 августа суд признал Элада виновным, он немедленно послал копию решения суда — вернее не всего решения, а только той части, где говорилось о роли Беньямина Джибли и Мордехая Бен-Цура в "Гиблом деле" — начальнику генерального штаба Хаиму Ласкову, а тот написал 25 августа докладную главе правительства и, цитируя решение суда, спросил — как быть? В тот же день начальник "Мосада" явился к Бен-Гуриону и, основываясь на письме начальника генерального штаба, предложил Бен-Гуриону создать военную комиссию и поручить ей расследовать только факты подлога и подстрекательства к ложным показаниям, но самого "Гиблого дела" не касаться отнюдь.

КОМИССИЯ КОГЕНА

28 августа Бен-Гурион дал согласие создать комиссию, поручил Ласкову и "Хабладу" назначить двух полковников, но выразил желание, чтобы председателем комиссии был назначен юрист, а еще лучше судья. Остановились на кандидатуре члена Верховного суда Хаима Когена, которому — так как комиссия ведь была военная — специально для этой цели присудили чин полковника.

В начале сентября "Эпи" узнал от Ицхака Навона, тогдашнего личного секретаря Бен-Гуриона, что назначена комиссия под председательством Хаима Когена; у него к тому времени уже была более или менее полная информация о выводах "Хабада" и решении суда по делу Элада; и он отправился к Лавону в Швейцарию. Узнав про военную комиссию и про то, что председателем назначен Хаим Коген, Лавон, с одной стороны, обрадовался — даже выпил на радостях, хотя это ему было строго запрещено, — но, с другой-забеспокоился. Во-первых, ему не очень понравилось, что расследовать будут военные; во-вторых, что председательствовать будет член Верховного суда, которому будет неловко опровергнуть решение председателя Верховного суда (им был в те дни тот самый Ицхак Ольшан, который расследовал "Гиблое дело" в январе 1955 года); в-третьих, будучи до этого генеральным прокурором, Яков Коген распорядился как-то о не вполне законном обыске в учреждениях "Мизрахи" (впоследствии партии "Мафдал"), а Лавон, состоявший тогда в правительстве, потребовал его отставки. Поэтому Лавон тут же отправил "Эпи" обратно домой и передал через него просьбу Бен-Гуриону повременить с назначением председателя комиссии. Бен-Гурион сказал, что теперь уже поздно: председатель назначен.

12 сентября комиссия приступила к работе, 18-го — вернулся "Эпи", а еще дня через три, в канун Нового года, вернулся и сам Лавон. Лавон приехал, а остальные поразъехались: Даян, министр сельского хозяйства, был как раз с визитом в Эфиопии, Шимон Перес, теперь уже не генеральный директор Министерства обороны, а заместитель министра, — во Франции и Италии, Леви Эшколь и Пинхас Сапир — также в Европе, туда же подался и Ицхак Навон, личный секретарь Бен-Гуриона, который и в 1954 году отсутствовал, и даже сам Бен-Гурион поехал после праздников отдыхать — в отпуск.

Вернувшись из Швейцарии, Лавон добился приема у Бен-Гуриона. Встреча была назначена на 26 сентября, и ее продолжительность заранее установлена в полчаса, дело само по себе довольно странное. Однако уже днем раньше, в воскресенье, сразу после Нового года, газета "Маарив"

напечатала на первой странице под аршинным заголовком следующее сообщение:

"БЕН-ГУРИОН РАСПОРЯДИЛСЯ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГО РАС - СЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ, ВЫЗВАВШИХ В СВОЕ ВРЕМЯ ОТ - СТАВКУ ЛАВОНА. СОЗДАНА СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СУДЬИ ХАИМА КОГЕНА".

И с этого дня "афера" не сходила уже с полос газет вплоть до февраля следующего года, до второй и окончательной отставки Лавона.

В понедельник после обеда Лавон, мучимый мрачными предчувствиями, отправился в Иерусалим на прием к главе правительства.

Все указывало на то, что так просто он реабилитации и сейчас не добьется. Во-первых, прошло уже пять месяцев, как он вручил Бен-Гуриону показания Иоси Гареля, из которых явствовало не только, что имели место подлоги и махинации, но и то, что Бен-Гурион знал о них еще в 1955 году. Во-вторых, комиссия Бен-Давида ("Хабада") расследовала эти показания и подтвердила наличие подлогов. В-третьих, суд над Аври Эладом установил в своем решении, что показания и документы, представленные комиссии Ольшан—Дори, были ложными.

Главное же, Лавон знал теперь также и то, что еще задолго до этого руководящие деятели партии и государства, в том числе Голда Меир и Пинхас Сапир, упорно уговаривали Бен-Гуриона сделать что-нибудь для его реабилитации, но так ничего и не добились. Мало того, Бен-Гуриону не только понадобилась для установления очевиднейших вещей новая комиссия, но и назначил он ее, даже не посоветовавшись с Лавоном, кровно заинтересованным в работе этой комиссии.

Все же Лавон еще надеялся на этой стадии, что Бен-Гурион, как глава правительства, общепризнанный вождь партии и государства, выслушает его, примет беспристрастное решение и, хоть и с запозданием, но все-таки реабилитирует его публично.

Содержание беседы, поначалу строго секретной, выдали несколько месяцев спустя сами Лавон с Бен-Гурионом, но

тогда страсти бушевали уже вовсю, и их изложение совпадает далеко не во всем.

Мы ее содержания не коснемся пока, а скажем лишь, что продлилась она не полчаса, а полтора; что Лавон, как только вышел от Бен-Гуриона, немедленно продиктовал все, что там было сказано, что Бен-Гурион в тот же день уехал в отпуск в Сде-Бокер и что корреспонденты газет, хотя Лавон и отвечал уклончиво, поняли по одному лишь выражению его лица, что никакой договоренности в ходе этой беседы достигнуто не было.

И точно, ни до чего они не договорились. Уже уходя, Лавон заявил, что ему теперь ничего не остается, как внести свое дело в комиссию по иностранным делам и обороне. Бен-Гурион высказал сомнение, подходящий ли это форум и не лучше ли вынести это дело на обсуждение правительства? Лавон, однако, боялся, что в этом случае оно там и останется, без всяких конкретных последствий, и потому настоял на своем. Прощаясь, Бен-Гурион спросил: "Ты на меня гневаешься?" — на что Лавон ответил по-английски: "Я уже по ту сторону гнева".

И тут плотину прорвало. Как ни свирепствовала военная цензура, а с этого дня не было ни одной газеты, которая ни приводила бы на первых полосах материалы — чаще всего жестоко изуродованные цензурой — об "афере". 27 октября газеты сообщили о том, что "Высший офицер" (Б. Джибли) отозван из-за границы для дачи показаний перед комиссией Когена; он служил тогда, кажется, военным атташе в Лондоне, прилетел лишь в середине октября и повел себя с самого начала на редкость нагло: ложь, дескать, все, в чем его подозревают. Однако когда он потребовал встречи с начальником генерального штаба Ласковым и со своим непосредственным начальством, ему в этом было отказано. Пронюхали газеты и о лихорадочной возне в рядах самой партии Мапай, и пришлось Йосефу Альмоги, тогдашнему секретарю Мапай, встретиться с корреспондентами и заверить их, что "партия не обсуждала и не будет обсуждать это дело", так как оно ничего общего с партией не имеет. Альмоги не забыл приободрить тут же, что о "Гиблом деле" он не имел, не име-

ет и не желает иметь ни малейшего понятия, и назавтра секретариат Мапай подтверждает решение не вмешиваться:

"Пинхас Лавон не нуждается ни в какой реабилитации, — льстиво заявил Альмоги на секретариате. — Тот факт, что он занимает одну из самых ответственных должностей в стране, — лучшее доказательство того, что его партия, возложившая на него эти обязанности, доверяет ему целиком и полностью".

Наконец, того же 28 октября, исполнявший обязанности председателя комиссии по иностранным делам и обороне Бергер заявил, что председатель Кнесета принял решение удовлетворить просьбу представителей оппозиционных партий "Херут" и "Общих сионистов" от 27 сентября о срочном созыве комиссии и что она начнет свою работу в ближайшие дни. И еще тогда же, 28 сентября, в ответ на сообщение, появившееся в некоторых газетах о материалах, переданных Лавоном главе правительства, что в них нет, мол, ничего, проливающего "новый свет" на "аферу", Лавон ответил, что они, может быть, света и не бросают, зато "бросают тень".

О том, какая кафкианская атмосфера царила тогда в стране, лучше всего свидетельствует фельетон Эфраима Кишона, напечатанный в "Маариве" от 30 сентября. Даже внешний вид фельетона, изобилующего белыми пятнами, пародировал неприкрытый разгул цензуры относительно всего, что касалось "Гиблого дела":

ПОЧЕМУ НЕ

ЛАВОНА?

Ввиду веских подозрений касательно содержания всевозможных документов и свидетельских показаний, подделанных или неподделанных до представления их одной комиссии несколько лет тому назад и которые могут пролить новый свет на известное дело, занимавшее причастных к нему лиц в продолжение продолжительного времени на почве внутренних трений, отразившихся на тех НА КОМ ЛЕЖАЛА НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ И ОПОСРЕДСТВОВАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ХОД СОБЫТИЙ В СФЕРАХ, БЛИЗКИХ К КРУГАМ, ЗАМЕШАНЫМ В ЭТО ДЕЛО как с точки зрения его государственно-го характера, так и, в известном смысле, по другим со-

ображениям, после обстоятельного расследования, призванного внести окончательную ясность в ряд неясных вопросов, о которых лучше не распространяться, само собой возникает вопрос: **О ЧЕМ, СОБСТВЕННО, ИДЕТ РЕЧЬ?**

Те, кто не читает газет регулярно и кому не удалось проникнуть за некую завесу, оказались вдруг перед двумя исключительными друг друга вариантами побудительных причин:

1. Реабилитация Лавона зависит от комиссии трех, которая проверит лишь обвинения, брошенные с обеих сторон реки Иордан и тому подобное.

2. -Гурион не согласен с реабилитацией г-на посредством некоторых операций, которые никак не в состоянии опровергнуть высказанные известными государственными деятелями в части

получения почтовых отправок
не входящих в почтовый ящик полномочия
одного из соседей на первом этаже.

В связи с изложенным можно высказать предположение, что ответ всех причастных к делу не ограничится одним лишь выяснением тех или иных обстоятельств, повлекших за собой известные события, но выразится, судя по всему, в решительном подчеркивании того факта, **ЧТО ОБЫВАТЕЛЬ ВСЕ-ТАКИ НЕ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ ЧОК-НУТЫЙ.**

Более того, принимая во внимание объективные условия без всяких прикрас, необходимо сказать со всей решительностью, что это дело неизбежно толкает к выводу, что если к населению и впредь будут относиться как к

то вне всякого сомнения

на следующих выборах
комбинация из трех пальцев.

Что же до настроения самых широких слоев населения уже на этой стадии, то их прекрасно выразил Шалом Розенфельд в начале уже цитированной выше статьи, написанной накануне Судного дня:

"Что тут происходит? В какую средневековую тьму мы вдруг угодили? В какое болото интриг и махинаций нас бросили? В какие джунгли человеческих отношений мы попали?"

Кто совершил подлог? Что это были за подлоги? Для чего их совершили? Кто давал ложные показания? По чьему наущению? Один из самых влиятельных деятелей правящей партии вопит, что на него возвели напраслину, опутали ложью, закидали грязью; он требует

реабилитации своего доброго имени. Реабилитации в чем? Кто возвел напраслину? Кто должен реабилитировать?

Пожалуй, никогда еще на нашего ошеломленного и взбудораженного обывателя не обрушивался такой шквал вопросов, на которые он так и не находит ответа, как в эти "десять дней раскаяния". Пожалуй, никогда еще народ не чувствовал с такой пугающей ясностью, что произошло что-то ужасное, что-то неслыханное, что-то такое, что до неузнаваемости исказило все наши понятия о порядочности и справедливости, — но вместе с тем он так и не возьмет в толк, что же оно такое, это "что-то", кто за него в ответе, как произошло все то, что произошло.

Об одном лишь он молится: чтобы этому наваждению был положен конец как можно скорее, чтобы ему вернули душевный покой, чтобы он мог верить и впредь, что государством нашим правит закон, что слово наших вождей — правда и что руки, в которые отданы наши судьбы, — чисты е".

В заключение этой главы приведу еще лишь небольшую выдержку из уже неоднократно цитированной книги Хасина и Горовица "Афера".

"Заслуживает упоминания еще один факт... В последние дни сентября нынешний министр сельского хозяйства и бывший начальник генерального штаба Моше Даян совершил какой-то странный и необъяснимый поступок. Он был тогда с визитом в Эфиопии и встретился там с самим императором. Первого октября он должен был возглавить израильскую делегацию на празднествах независимости в Нигерии. И вот, 24 сентября (уже после возвращения Лавона из Швейцарии, но еще до его встречи с главой правительства; М. Л.) он вдруг прилетел на полтора дня домой и тут же поехал в Сде-Бокер к Бен-Гуриону. Работники Министерства иностранных дел не в состоянии объяснить этот странный залет Даяна; попытки же объяснить его подвернувшимся кстати "воздушным тремпом"* или личными мотивами — не очень убедительны. Так дело и осталось темным. Лишь впоследствии, когда известно стало, что где-то в тех краях был в те дни и "Мужчина" (Иоси Гарель, который, как мы помним, и возбудил все дело; М. Л.), кое-кто попытался связать залет Даяна домой не столько с необходимостью доложить Бен-Гуриону о результатах встреч с руководителями Эфиопии, а с "аферой". По сей день в это дело не внесена ясность..." .

*Тремп — на современном израильском жаргоне так называется возможность добраться до места на попутной машине.

БЕН-ГУРИОН И "ГИБЛОЕ ДЕЛО"

То, о чем пойдет речь в дальнейшем — начало заката звезды Бен-Гуриона, причина того, что редакция "Еврейской Энциклопедии" сочла нужным поместить в дополнительном томе к первым шестнадцати томам большую дополнительную статью о Бен-Гурионе, где имеется и такой абзац:

"Авторитет, которым пользовался Бен-Гурион в своей партии, в правительстве и в государстве, а также его личный авторитет среди широких слоев общества был поколеблен в начале шестидесятых лет в результате "Дела Лавона" и вследствие вскрытия всяких дел, связанных с взаимоотношениями с Германией. Эти события вызвали не только внутривнутриполитические конфликты, но и кризис доверия. Все это обострилось не в последнюю очередь из-за агрессивности выступлений главы правительства против тех, кто был с ним не согласен. В "афере" Бен-Гурион несколько раз менял свою позицию и свои доводы, бросал тяжкие обвинения людям, на протяжении многих лет бывшим его единомышленниками и товарищами по политической деятельности, — все это при постоянном использовании лозунгов чистоты и правдивости".

В задачу этой работы совсем не входит воскуривать фи-миам Бен-Гуриону. Это сделано в сотнях других куда более солидных трудов, в том числе в "Воспоминаниях" самого Бен-Гуриона, где он позаботился поместить адресованное ему письмо Шломо Лави:

"Теперь его друг Давид рисуется Лаишу (то есть Лави) как человек, в котором импульсивная мудрость чудеснейшим образом слилась с глубокой нравственностью, и временами на него нисходит Божий дух, который очень хорошо чувствуют те, что одарены развитой восприимчивостью. Теперь он предстает перед Лаишем как человек, который неодолимо завоевывает их сердца своей мудростью, чистотой духа, неукротимостью и красноречием. Бывает, на него нисходит грозный дух, и тогда он преобильно казнит, а бывает, на него нисходит благодать, мягкая, ласковая и умиротворяющая. Он умеет увлечь силой своего воображения очень-очень многих сынов своего народа, хотя немало свинца льют ему на крылья те, что следуют за ним, а также и те, кто думает, будто они за ним не следуют; бывает, он умеет навязать свою дерзновенную волю многим десяткам тысяч своих единоплеменников, и то, что поначалу воспринималось как

принуждение, превращается затем в желанное, дорогое и великое дело. И вот так он самоотверженно и неутомимо несет на своих плечах бремя народное".

*Бен-Гурион
Воспоминания. 1971, стр. 9.*

Вместе с тем эта работа не ставит себе целью и умалить огромные заслуги Бен-Гуриона. Просто в "афере" нашли свое выражение не черты его величия, а иные черты, которые, увы, были ему свойственны тоже. Этот человек совершенно не умел "проигрывать". Один близкий мой друг, теперь уже глубокий старик и завзятый шахматист, рассказал мне такую историю. Как-то он сидел в 1928-м или 1929 году в Тель-авивском клубе Гистадрута, который помещался тогда на улице Алленби № 6. Танцев там, конечно, не устраивали, зато играли в шахматы. И вот однажды пришел тогдашний генеральный секретарь Гистадрута Бен-Гурион. Как известно, Бен-Гурион тоже любил играть в шахматы. Сыграл он партию с моим другом... и проиграл. "Он никак не мог успокоиться, — рассказал мне мой друг. — Искал причины, обвинял меня, что я его сбил, мол, с толку, "а то бы ни за что я тебе не проиграл!" и, боюсь, возненавидел меня всей душой. Мне было ужасно неловко, но все же я тогда подумал: "А что если ты когда-нибудь возглавишь государство? Если ты проиграешь не партию шахмат, а по-настоящему важную политическую игру?" На нашу беду, эта черта, этот недостаток, это доведенное до абсурда упрямое отстаивание своей правоты, это неумение проигрывать пустили глубокие корни во всей нашей жизни. Никто, никогда ни в чем виновным себя не признает — идет ли речь о "концепции", о "системе", об "абсорбции", — всегда виноват кто-то. Уж, казалось бы, что могло быть яснее вины Джибли и Бен-Цура, подделавших документы, подстрекавших к лжесвидетельству (иное дело, выполняли бы приказ в уверенности, что не преступление они творят, а спасают страну), и неизбежно вытекающая отсюда невинность Лавона (опять-таки, может быть, и дурного министра обороны, с невозможным характером и так далее, но к о м а н-

ду не отдававшего), а поди ж ты — именно здесь Старик заупрямился, решил поставить на своем и сломить Лавона какой угодно ценой. Даже когда к нему приехали в 1968 году каирские узники, а Лавон лежал уже парализованный и почти уже неживой, Бен-Гурион все с таким же упорством твердил: "Одно вы должны знать. Вас продали, а Лавон лгал... Вы должны написать книгу. Не допускайте, чтобы все это забылось". "И этим, — говорят сами бывшие каирские узники, — он снова раскрыл в наших душах "ящик Пандоры, который был, как нам казалось, заколочен на веки вечные". ("Операция Сюзанна", стр. 358). Увы, потребовалось еще восемь лет — и, уж конечно, не по вине Лавона, — прежде чем им разрешили написать эту книгу.

Однако вернемся к октябрьским событиям 1960 года. Это были дни, когда Никита Хрущев гастролировал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, стучал туфлем по столу, хоронил ООН; когда в США шла предвыборная борьба между Кеннеди и Никсоном; а в самом Израиле готовили суд над Эйхманом. Однако до всего этого израильтянам не было дела: их занимало одно — "афера".

Итак, первого октября был Йом Кипур. Бен-Гурион провел этот день в посту и молитвах в полевой синагоге где-то в Негеве. На следующее утро он ринулся в атаку: утром выступил на заседании правительства, после обеда — перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне, а вечером газеты напечатали специальный выпуск — с публичным заявлением на пяти с половиной страницах. Вот, вкратце, линия, которую он избрал:

"1. Не вижу никакой надобности реабилитировать Лавона; во-первых, потому, что я его ни в чем не обвинял; во-вторых, потому, что если его обвинял или пытался обвинить кто-нибудь другой, то я не считаю себя вправе реабилитировать. Я не следователь и не судья. Я никогда никого не осуждал, меньше всего Лавона, и не буду делать это и сейчас...

2. Нельзя обвинять прямо или косвенно и кого-то другого — я имею в виду двух офицеров ЦАХАЛа (но это относится и к любому другому человеку), — пока не будет доказана его вина...

3. С умыслом или без смешивают две вещи: а. провал, который расследовала специальная комиссия, но так и не докопалась до истины; б. отставку Лавона... Тогдашний глава правительства заявил 21 февраля 1955 года в Кнесете: "Лавон изложил вчера в правительстве мотивы своей отставки. Он не считает возможным оставаться на своем посту после того, как правительство отклонило его предложения, направленные на реорганизацию структуры Министерства обороны и армии". У меня нет и тени сомнения, что тогдашний глава правительства говорил Кнесету правду... Все, кто пишет, что Лавона "уволнили" с должности, либо пишут заведомую неправду — а есть такие, — либо плохо осведомлены...

4. Мне до сих пор неизвестно, какие именно изменения предлагал тогдашний министр обороны и почему глава правительства их отклонил, ...не слышал об этом и от Лавона. Не скажу, что наше Министерство обороны идеальное — такого вообще нет, — но оно эффективно и соответствует нашим нуждам...

5. Следственная комиссия не занимается тем, что газеты называют "делом Лавона", а только честностью двух офицеров... Но так как Лавон считает — может быть, не без оснований, — что эти материалы касаются и его, то я ему и передал тот материал, которым я располагал. Вместе с тем двум офицерам нужно предоставить все возможности для того, чтобы они доказали свою невиновность...

6. В газете "Едиот Ахронот" от 28.9.60 говорилось, что "Лавон резко выдвинул перед Бен-Гурионом требование полной его реабилитации". Не знаю, каким образом газета узнала, чего именно требовал от меня Лавон. Я не стану ни подтверждать, ни опровергать сообщение об этом требовании. Все же скажу открыто и предельно ясно, что я Лавона никогда ни в чем не обвинял и ничего предосудительного в нем не находил; я ценю его деятельность в тот короткий период, когда он работал в Министерстве обороны, ценю и его важную работу в Гистадруте...

7. Я не был и не буду конфликтующей стороной в споре с Лавоном... Для спора нужны двое, а я не был и не буду одной из сторон...

8. В газете "Ламерхав" и "Едиот Ахронот" от 28.9.60 написано, будто они слышали от Лавона, что "документы, которые он передал главе правительства не "проливают свет, а бросают тень". Как видно, имеются в виду документы, которые Лавон передал мне несколько месяцев назад. Хочу уточнить, что в ходе беседы с Лавоном от 26 сентября я сам рассказал Лавону о неких документах, полученных мной в последнее время — не от Лавона, — которые бросают тень на честность двух офицеров. Поэтому я и распорядился, чтобы начальник генерального штаба назначил следственную комиссию. Лавон хотел познакомиться с этими документами, и я тут же вызвал своего военного секретаря, полковника Хаима Бен-Давида и попросил его вручить Лавону эти документы, так как мне показалось, что,

может быть, они относятся к "делу", в котором Лавон заинтересован...

9. Лавон не нуждается в моем разрешении (выступить перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне); он волен обратиться туда когда вздумается, без моего разрешения и даже ведома.

10. Наконец я хочу сказать, что полностью отождествляю свою точку зрения с заявлением Й. Альмоги, что все это дело не имеет никакого отношения к партии Мапай. Если я им и занимаюсь, то только в своем качестве министра обороны". (Разбивка по пунктам моя; М. Л.)

Читатель, верно, уже сам заметил, что хотя тон заявления и не открыто враждебный еще, но что миром дело даже не пахнет. И действительно, пройдет немного времени, и Бен-Гурион нарушит одно за другим почти все свои заверения.

Во вторник четвертого октября Лавон выступает наконец перед комиссией Кнесета. Эта комиссия по иностранным делам и обороне, хоть и сугубо секретный, но не правительственный и конечно же не партийный орган: в ней 21 член от всех партий — вернее, от основных, представленных в Кнесете, то есть и члены оппозиции. Вынести дело перед этой комиссией — в глазах правящего партийного руководства, — все равно что вынести сор из избы. Отсюда и болезненная реакция правящей партии Мапай.

Хотя работа комиссии Кнесета по иностранным делам и обороне была сугубо секретна, на этот раз в печать попало почти все, что было сказано на ее заседании.

Сам Лавон, передавая после своего выступления краткое коммюнике представителям печати, подчеркнул, что никакого конфликта между ним и главой правительства не существует, но решительно отверг утверждение Бен-Гуриона, будто не "Гиблое дело" явилось причиной его отставки в 1955 году, а какие-то разногласия с Моше Шаретом, тогдашним главой правительства. Он даже процитировал из своего заявления об отставке следующую фразу:

"После того что произошло в результате известного дела, ни один уважающий себя человек не смог бы остаться на своем посту, не потребовав увольнения двух своих подчиненных".

Что же касается выдвинутого Бен-Гурионом аргумента, будто все дело требует дополнительного судебного разбирательства, то Лавон провел резкую грань между уголовными действиями Джибли и Бен-Цура, которые действительно относятся к компетенции суда, и его собственной отставкой, которая носила чисто общественный и государственный характер и поэтому подлежит не судебному, а парламентскому, правительственному и общественному разбирательству.

В тот же день в газете "Давар" появилось сообщение, в котором говорилось, что Бен-Гурион сочувственно относится к борьбе Лавона за реабилитацию, что он не собирается чинить ему препятствий, а, наоборот, "будет рад, если Лавон добьется успеха в этой борьбе".

С другой стороны, известно, что еще накануне первого его выступления перед комиссией Кнесета Поля Бен-Гурион (жена главы правительства) позвонила жене Лавона и пыталась убедить ее, что ничего хорошего эта затея не даст и лучше Лавону отказаться от своего намерения.

Забегая вперед на несколько дней, скажем, что накануне второго выступления Лавона перед комиссией Кнесета Поля Бен-Гурион еще раз позвонила Люси Лавон и сказала: "Теперь твой-то окончательно себя погубил: вряд ли его оставят генеральным секретарем Гистадрута".

Назавтра, 5 октября, вернулся из Европы Шимон Перес, теперь уже не только генеральный директор, но и заместитель министра обороны и конечно же депутат Кнесета.

Еще в аэропорту Лод корреспонденты забросали его вопросами, но он коротко ответил:

"Почитаю газеты, узнаю подробности, тогда и скажу".

На следующий день он едет в Сде-Бокер к Бен-Гуриону и еще через день все газеты печатают его коммюнике.

В этом коммюнике заместитель министра обороны (а фактически министр) заявил, что, во-первых, он не запрашивался в свидетели, а от него комиссия Ольшан—Дори потребовала показаний; во-вторых, что в своих показаниях он никак не коснулся личности Лавона; и, в-третьих, что он ни одного

своего слова назад не возьмет, а, наоборот, готов повторить все перед любым форумом, уполномоченным на это. Перес многозначительно добавил, что на данном этапе он ограничивается этим заявлением, намекая на то, что у него имеется в запасе многое другое.

КАМПАНИЯ КЛЕВЕТЫ

С этого дня "афера" претерпела очередную — правда, кратковременную — метаморфозу: она приняла характер личного конфликта между Лавоном и Пересом, и в течение нескольких дней почти во всех газетах страны мелькают чаще всего именно эти две фамилии. Однако уже назавтра газеты, черпавшие информацию, по их собственному признанию, из "правительственных кругов" подводят под этот конфликт более солидную идейно-политическую основу.

7 октября в газете "Джерузалем Пост" появляется статья некоего Шапино, озаглавленная "Армия против Лавона". О "Гиблом деле", о подлогах и лжесвидетельствах в этой статье не было ни слова, зато выдвигалась теория, что армия, дескать, вправе уважать лишь настоящее военное руководство и отказать в уважении "дилетантам".

Близкий к Министерству обороны журналист Элькана Гали пишет в газете "Едиот Ахронот" о том, как, будучи министром обороны, Лавон пытался завоевать симпатии высшего командного состава тем, что он им без разбора давал разрешения на "операции возмездия". Всего же больше свирепствует на страницах газеты "Гаарец" будущий биограф Даяна — теперь и Бен-Гуриона — Шабтай Тевет, который то и дело затрагивает в своих многочисленных корреспонденциях и статьях не факты сокрытия и подделки документов в Военной разведке, а общую атмосферу, как мы помним, весьма напряженную и нездоровую, господствовавшую в Министерстве обороны в 1954 году. Эта-то подмена, начало которой было положено еще в дни работы комиссии Ольшан—Дори и январе 1955 года, становится теперь общим лейтмотивом в кампании, которую развернули определенные

круги сразу же после первого выступления Лавона перед комиссией Кнесета. Впрочем, Лавон предвидел это и открыто заявил в печати:

"Я читал в газетах всевозможные корреспонденции, основанные на слухах и клевете, исходящих (как в этом открыто признаются сами авторы) из кругов, близких к Шимону Пересу. Мне хочется заметить по этому поводу следующее: я знал, что сейчас определенные круги закидают прессу сплетнями и злонамеренной клеветой, направленными против меня. Все это напоминает мне методы, к которым эти же круги прибегали пять с половиной лет тому назад".

10 октября к этой кампании присоединяется наконец и сам Бен-Гурион. Ни с кем не посоветовавшись, никого не предупредив, он созывает министров не своей партии, а партий, входивших в коалицию 1954—1955 годов, "общих сионистов", национально-религиозной партии и "прогрессивных" (нынешних "независимых либералов"), чтобы выяснить якобы обстоятельства отставки Лавона в феврале 1955 года. В действительности, чтобы добиться поддержки этих партий в поединке, который ведется в эти дни в комиссии Кнесета по иностранным делам и обороне. Бен-Гурион расспрашивает их, точно не знает истинной причины отставки Лавона. Ему, разумеется, все до единого бывшие министры отвечают, что внешним предлогом для отставки был отказ Шарета уволить Переса и Джибли, однако истинной причиной была общая обстановка, создававшаяся в Министерстве в результате "Гиблого дела", о котором, правда, они сами знали тогда очень мало.

Однако Бен-Гурион не ограничивается одними лишь вопросами, он не только безоговорочно принимает сторону Переса ("По-моему, Перес сделал для обороны страны больше Лавона"), он прямо нападает на Лавона, на его пагубное влияние на армию: "Армия — это вам не Солел-Боне и военные командиры — это вам не служащие в форме", "Лавон совершенно не обладает военной интуицией" и т. д. В заключение Бен-Гурион заявил еще, что он отнюдь не стремится к какому-либо компромиссу в этом деле, но вместе с тем считает, что "аферу" должна разбирать не комиссия Кнесета, а суд.

Итак, жребий брошен: Бен-Гурион расстается с маской благожелательного и беспристрастного третьейского судьи, становится и сам участником конфликта. Правда, ни он, ни его сторонники не отваживаются прямо обвинять Лавона в том, что именно он явился инициатором "Гиблого дела" и отдал команду, зато тем решительнее муссировали его "промахи" на посту министра обороны, его "неуравновешенный" характер, его "пагубное влияние" на армию.

Назавтра после описанной встречи, под строжайшим секретом, так что ни один журналист к делу допущен не был, прилетел наконец из-за границы Бенъямин Джибли. Джибли уже знал к тому времени, что Мордехай Бен-Цур ("Офицер запаса") "раскололся" перед комиссией Когена и рассказал всю правду о заговоре против Лавона. Ходили слухи, что к нему был немедленно направлен посыльный, чтобы сообщить ему об этом и приготовить таким образом к предстоящему допросу комиссией Когена. (Некоторые журналисты даже самому Пересу задали вопрос после его возвращения из Европы: не встречался ли он там с офицером, замешанным в "Гиблое дело"?)

В тот же вторник, 11 октября, состоялось второе выступление Лавона перед комиссией Кнесета. Он начал с того, что предложил затребовать помимо протоколов комиссии Ольшан—Дори еще и протоколы допросов по делу Аври Элада. Сам он уже познакомился с этим документом, но председатель Иерусалимского суда, выдавший это разрешение, запретил ему цитировать их. Два события произошли на этом заседании комиссии Кнесета:

В ответ на повторный вопрос о том — не были ли замешаны в заговоре против него и иные высокопоставленные лица, помимо Джибли и Бен-Цура, — Лавон признался, что он долгое время никак не мог избавиться от сознания, что кто-то орудует против него в темноте, и что это-то сознание немало и повлияло на его поведение. В особенности усилились эти опасения, когда он узнал о таинственном исчезновении некоторых документов, связанных с "Гиблым делом". Вместе с тем Лавон признал, что, сколько он ни копался, а доказательств никаких не нашел. Если бы нашел, добавил он тут

же, то уж у него не дрогнула бы рука представить их, невзирая на лица. Несмотря на то, что никаких имен Лавон не назвал, его тут же стали обвинять в печати, что он намекает на Бен-Гуриона и пытается, мол, свалить вину на него (хотя гораздо вероятнее то, что Лавон имел в виду Даяна).

Далее Лавон сказал, что помимо представленных им документов, у него имеется и другой "секретный материал", который он еще никому не показывал и, Бог даст, не покажет:

"Пока я могу вести свою борьбу не личными и не грязными средствами".

Лавон тут же пояснил, что материал этот он получил от разных людей и сделает все, что в его силах, чтобы не доставить им неприятностей.

Это заявление было немедленно выставлено как попытка шантажировать партию Мапай, хотя в словах Лавона ничего не указывало на то, что речь идет о материалах, касающихся партии, а не Министерства обороны.

Тем временем комиссия Когена, начавшая свою работу 15 сентября, закончила работу и уже 15 октября представила Бен-Гуриону свой доклад.

Буквально в последние дни она допросила Бенъямина Джибли, предложила ему задавать самому какие угодно вопросы остальным свидетелям по делу, но он отказался. Он вообще отказался сотрудничать с комиссией, повторил только то, что показал пять с половиной лет назад перед комиссией Ольшан—Дори, отказывался от всякой ответственности за действия своих подчиненных (Бен-Цура и Элада).

Как и предыдущие комиссии, назначенные для расследования дела, комиссия Когена, как обнаружил доктор Иоханан Бадер на одном из заседаний комиссии Кнесета, не имела никакой юридической силы: свидетельские показания давались не под присягой, за ложные показания, данные ей, нельзя было привлекать к судебной ответственности, и ее выводы не могли служить уликами на судебном процессе, даже если бы он и состоялся впоследствии.

Тогда же, 15 октября, когда комиссия Когена представила Бен-Гуриону доклад на десяти машинописных страни-

цах, Эфраим Эврон, многолетний и верный помощник Лавона, отправляется в командировку в США. Перед этим на него оказывался всяческий нажим, чтобы он отказался от поддержки Лавона. И, как только он покинул страну, распространяются слухи, будто Эврон понял наконец, что за человек Лавон, и не станет его больше поддерживать. Эврон это, однако, предвидел, и еще до отъезда подробно рассказал руководящим деятелям партии Мапай о давлении, которое пытались оказать на него, и, как только он прибыл в США, тут же встретился по просьбе Лавона с Леви Эшколем и Голдой Меир, также находившимися там в эти дни.

Однако вернемся к докладу комиссии Когена. В ее распоряжении был всего лишь один месяц, главные свидетели — все тот же Иошафат Гаркави и Даля Кармель, бывшая секретарша Джибли, — снова были в Париже, так что установить факты подлога комиссии не удалось.

Комиссия записала поэтому:

"Начиная с 1955 года высказывались всевозможные подозрения и обвинения в подлоге документов и записей, относящихся к делу, но, как выяснилось, никому пока не удалось представить доказательства, подтверждающие эти подозрения и обвинения".

(Цитировано Леви Эшколем в Кнесете в начале 1961 года.)

15 октября, день представления комиссией своего доклада, была суббота. Все были уверены, что на завтра Бен-Гурион хотя бы познакомит с ним правительство. Однако день проходил за днем, а Бен-Гурион не спешил (под предлогом все той же "строгой секретности").

Меж тем еще в ночь на воскресенье из редакции газеты "Гаарец" позвонили Лавону, задавали ему вопросы, из которых явствовало, что редакция уже знакома с докладом комиссии. Это было неслыханно: выразить недоверие членам правительства и в то же время знакомить редакцию пристрастной газеты с "важнейшим государственным делом"!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ХАУЗНЕРА

Три дня Бен-Гурион изучал доклад комиссии Когена и только 18 октября передал его генеральному прокурору Гидеону Хаузнеру для формулировки выводов. Причем не просто выводов, а однозначных ответов "да" или "нет" на три сформулированных им вопроса:

1) Имеются ли в выводах следственной комиссии и свидетельских показаниях основания для привлечения к суду кого бы то ни было по обвинению в подлоге, лжесвидетельстве или в других преступлениях, предусмотренных законодательством Израиля?

2) Дало ли следствие и дают ли выводы следственной комиссии ответ на вопрос: кто отдал команду в "Гиблом деле" — или же комиссия вообще этим делом не занималась?

3) Выяснилось ли в ходе следствия, что был совершен какой-либо подлог, который касался бы "Гиблого дела"?

Сформулировав эти вопросы, Бен-Гурион был почти уверен, что генеральный прокурор даст на них отрицательный ответ.

Однако Гидеон Хаузнер оказался совсем не таков, чтобы уподобиться попугаю, вторившему всему, что от него требуют. Ему понадобилось только два дня, чтобы сформулировать свои знаменитые выводы, которые были и остаются образцом юридического искусства и добросовестности. Вот его ответ:

"Нет оснований привлечь кого бы то ни было к уголовной ответственности, но не потому что не за что было, а лишь потому, что комиссия Ольшан—Дори не была облечена судебскими полномочиями, так что лжесвидетельства перед ней не являются преступлением; подстрекательство же к лжесвидетельству истекает за давностью через три года".

На второй вопрос Бен-Гуриона генеральный прокурор сказал следующее:

"Ответ на ваш второй вопрос можно найти в самом постановлении о назначении этой комиссии, где точно оговорена ее компетенция. Комиссия Когена была назначена не для расследования вопроса: кто отдал команду? — и поэтому она этим вопросом не занималась. Та-

ким образом, мне приходится ответить на сформулированный вами вопрос так: комиссия Когена не коснулась "Гиблого дела" непосредственно... Возможно, правда, что доклад комиссии, если его сравнить с выводами комиссии Ольшан—Дори и тщательно изучить показания, сделанные по делу перед этими двумя комиссиями, позволит сделать те или иные выводы. Об этом вы меня, однако, не спросили, так что я этого вопроса и касаться не буду".

На третий вопрос Гидеон Хаузнер ответил:

"Расследование не установило, что совершены какие-либо подлоги, однако расследование было неполное и необходимо довести его до конца".

Помимо ответов на эти вопросы прокурор подробно описал в своих выводах весь ход подготовки сговора против Лавона и дачи ложных показаний Аври Эладом в 1955 году, указав, что Мордехай Бен-Цур лжесвидетельствовал вдобавок и на процессе Элада, пытался давать ложные показания и перед комиссией Когена.

В воскресенье 23 октября Бен-Гурион представил правительству выводы генерального прокурора по докладу комиссии Когена (сам доклад он по-прежнему держал в секрете) вместе с ходатайством Бенямина Джибли назначить судебную следственную комиссию.

В конце декабря Джибли, по совету своего адвоката, решил взять это ходатайство назад. Через несколько дней его спросили: если он недоволен выводами комиссии Когена, то почему же он не заявил протест тут же на месте, почему отказался от предоставленного ему комиссией права подвергнуть остальных свидетелей перекрестному допросу? На это Джибли дал очень странный ответ. Он назвал комиссию Когена смехотворной, упрекнул ее в том, что она расследовала не само дело, а только "технические подробности" — так он квалифицировал лжесвидетельства, сокрытия и подделки документов, — а главное, выдвинул новую теорию: теперь, мол, точно установлено, что первые операции (от 2 и 14 июля 1954 года) были выполнены самовольно, без соответствующего на это приказа. Однако самым интри-

гующим в словах Джибли было следующее: он сказал, что, по мнению его адвоката, у него есть весьма веские доказательства, но он пустит их в ход лишь при условии, если его "товарищи" (он назвал при этом фамилии Даяна, Переса и др.) примут его сторону. Джибли даже самодовольно добавил, что у него имеются средства заставить их принять его сторону. (*"Афера" Хасина и Горовица, стр. 131-132*).

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ КОМПРОМИССЫ

В партии тем временем нарастала паника. Первые два выступления Лавона перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне, хоть и были выдержаны в корректном тоне, но Бен-Гурион уже не скрывал своего возмущения по поводу этого неслыханного "выноса сора из избы" и всячески пытался положить конец этому "безобразию" или, по крайней мере, направить дискуссию в комиссии в нужном ему направлении. С этой целью он направил в комиссию "совершенно секретное" письмо, которое, однако, появилось почти во всех газетах еще даже до того, как оно попало в комиссию. Письмо это содержало ряд совершенно не относящихся к делу вопросов, которые комиссия, по его мнению, должна задать Лавону:

1) Почему Лавон не принял меры для расследования "Гиблого дела" сразу после провала в Египте?

2) Была ли или не была комиссия Ольшан—Дори уполномочена расследовать не только обстоятельства "Гиблого дела", но также и иные явления, имевшие место в армии и Министерстве обороны? Почему Лавон это не опротестовал сразу?

3) В самом ли деле Лавон не знал, что показания, данные перед комиссией Ольшан—Дори, секретны?

4) Почему Лавон внес свои предложения по реорганизации Министерства обороны только накануне своей отставки?

Эти вопросы и были заданы Лавону во время его третьего выступления перед комиссией Кнесета. Ответил он на них лишь в ходе четвертого — и последнего — выступления, но об этом ниже.

Между тем из США вернулся тогдашний министр финансов Леви Эшколь. Не успел он выйти из самолета, как им тут же "завладела" группа самых ответственных руководителей партии Мапай. Леви Эшколь ни в какой мере в "Гиблом деле" замешан не был, а в партии он обладал не столько авторитетом, сколько славой "миротворца"; не удивительно поэтому, что в этот очень трудный для партии час именно в нем видят спасителя. Целую ночь сидели, рядили, искали выход из положения. Рано утром состоялось заседание секретариата партии Мапай, на котором было решено:

1) "Афера" должна найти свое полное законное и справедливое разрешение в соответствующем государственном форуме.

2) Сохранить в партии "товарищеский дух".

3) Проявить терпение и терпимость.

4) Поручить Эшколю все дело.

В семь часов утра эти резолюции были представлены на утверждение партийному центру, и тут возникли первые разногласия.

Бен-Гурион, перед тем неустанно требующий установить, кто именно отдал команду, сказал:

"Я сомневаюсь, удастся ли вообще выяснить когда-нибудь всю правду — тот ли дал правдивые показания перед комиссией или этот, была ли вообще отдана команда или нет".

(Не забудем, что к этому времени Бен-Гурион уже получил доклад комиссии Когена, где факт лжесвидетельства был установлен с полнейшей несомненностью.)

Во всяком случае, упорствовал Бен-Гурион, "аферу" необходимо изъять из компетенции комиссии Кнесета. Несколько дней спустя Бен-Гурион даже угрожал, что подаст в отставку, если комиссия Кнесета будет продолжать заниматься "аферой".

21 октября состоялось последнее выступление Лавона, он ответил на письменные вопросы Бен-Гуриона, но уже без всякой сдержанности. Страсти разгорелись с особой

силой, когда депутаты Бар-Иегуда, Хазан и другие выразили свое возмущение по поводу того, что Бен-Гурион до сих пор не представил ни правительству, ни комиссии Кнесета доклад комиссии Когена.

Три дня спустя, в понедельник 24 октября, перед комиссией Кнесета выступил наконец и Шимон Перес. Текст своего выступления он заранее передал корреспондентам всех газет, так что широкой публике оно стало известно раньше, чем членам комиссии. "Гиблого дела" он совершенно не коснулся, да и не знал он о нем, по его собственному утверждению, ничего, а говорил все больше о работе Министерства, о своих натянутых отношениях с Лавоном, который лез, дескать, во все дырки и, главное, выставил себя этакой жертвой.

Члены комиссии обрушили на Переса целый поток вопросов, касающихся права хранения секретных документов в Министерстве обороны, сговора против Лавона после провала "Гиблого дела" и т. д. Но тут Перес отвечал все более уклончиво: "не помню", "если память мне не изменяет", "по-моему, никакого сговора не было", "исчезли не все документы" и т. п.

Между тем 24 октября открылась очередная сессия Кнесета, и решительно все депутаты Мапая сошлись на том, что партии будет нанесен непоправимый вред, если эта публичная стирка грязного белья будет продолжаться.

И тут Эшколю пришла гениальная мысль: коль Бен-Гурион отказывается реабилитировать Лавона, то нельзя ли сделать так, чтобы публичную реабилитацию Лавона осуществил не Бен-Гурион, а Моше Шарет, который был главой правительства в роковые дни "Гиблого дела"? Лавон долго просить себя не заставил, заявив, что его удовлетворяет и такая реабилитация. И вот в понедельник, 25 октября, Моше Шарет дает следующий ответ на вопрос корреспондента газеты "Давар":

"Я уверен, что, если бы в свое время были известны факты, установленные комиссией Когена, это послужило бы веским доказательством того, что обвинение, брошенное в те дни Лавону в смысле его личной ответственности за известное дело, не имело никаких оснований".

Назавтра Лавон также заявил корреспонденту газеты "Маарив", что он считает теперь "аферу" законченной, как с общественной, так и с моральной точек зрения.

Итак, все говорило за то, что "афера" благополучно приходит к концу. Под суд никого отдавать не пришлось. Правда, о настоящих жертвах "Гиблого дела", о каирских узниках, так никто ни разу и не заикнулся, и теперь оставалось поскорее изъять "аферу" из комиссии Кнесета и келейно покончить со всем.

И вдруг в пятницу, 28 октября, в тот самый день, когда тогдашний министр иностранных дел Голда Меир вернулась с сессии ООН, в газете "общих сионистов" "Габокер" появилось письмо Бен-Гуриона:

"К моему сожалению и удивлению, — писал он, — мне приходится констатировать, что все оппозиционные партии, а также, кажется, все коалиционные, возражают против создания судебной комиссии, которая одна в состоянии докопаться до истины— Я требую создать такую комиссию, потому что существует один-единственный вопрос, и вопрос этот, по-моему, в том, кто именно отдал команду приступить к "Гиблому делу"..."

Похоже, не зря в тот день писал Шмуэль Шницер в "Маариве":

"Если человек решил не давать себя убедить, то тут уж ничего не поможет. Любое расследование, которое не даст нужных ему результатов, он просто будет игнорировать, и, сколько доказательств ему ни представляй, белое в его глазах всегда останется черным".

Когда писались эти строки, министру юстиции Розену уже было поручено создать комиссию министров, которой и предстояло ответить на роковой вопрос: кто отдал команду?

В воскресенье 30 октября на очередном заседании правительства такая комиссия была создана. В нее вошли семь министров, она сосредоточила в своих руках все материалы, чтобы, изучив их, представить свои выводы правительству.

Девятнадцать изнурительных заседаний посвятила "комиссия семи министров" изучению материалов дела, но не обнаружила ни единой улики, подтверждающей причаст-

ность Лавона к отдаче приказа. И все же нашелся один человек, который пытался повлиять на ход дела и внести новые показания. Это был бывший начальник подразделения 131 Иоси Гарель ("Мужчина"), который сам явился в феврале к Лавону, чтобы рассказать ему о подделках документов в Военной разведке. Теперь он направил комиссии письмо, утверждая, что во время его беседы с Лавоном последний признался ему, что Беньямину Джибли удалось-таки "выманить" у него команду, хоть и задним числом. Комиссия сразу поняла, что это новое показание (о котором Гарель ни разу до сих пор не упомянул) сфабриковано. Несколько дней спустя состоялась встреча Гареля с Пинхасом Сапиром и Леви Эшколем в иерусалимской гостинице "Эден", в ходе которой Гарель признался, что на него был оказан сильнейший нажим, в результате чего он и написал это письмо.

В начале декабря генеральный прокурор Гидеон Хаузнер выехал в Париж, чтобы допросить бывшую секретаршу Джибли Далию Кармель. Она поначалу от всего отказывалась, но Хаузнер устроил ей очную ставку с Иошафатом Гаркави, которому Далия все рассказала еще в 1955 году. Посоветовавшись по телефону со своим адвокатом в Израиле, она теперь призналась письменно, что допечатала на копии письма Джибли к Даяну слова "по распоряжению Лавона", но, чтобы выгородить Джибли, сказала, что совершила этот подлог по распоряжению Бен-Цура. Правда, ей самой была обещана неприкосновенность, однако до сих пор Далия Кармель предпочитает жить за границей. В конце 60-го года она приезжала в Израиль, но, когда возник вопрос об уголовной ответственности Джибли, она снова начала юлить и уваливать. Так что полиция так и не смогла привлечь Джибли к суду.

Тем временем подошли торжества по поводу 40-летней годовщины Гистадрута, во главе которого стоял Пинхас Лавон. 12 декабря он устроил пресс-конференцию, посвященную предстоящей годовщине и, подчеркивая роль Гистадрута в жизни страны, сказал и о том, что в стране заметна явная тенденция к "этатизму", которая не в малой степени проявляется во всеилии цензуры и в попытках горстки

руководителей распоряжаться решительно всем в стране. В качестве примера Лавон привел инспирированный Бен-Гурионом отказ африканско-азиатского института в Израиле от финансовой поддержки профсоюзов США. В ответ на это Бен-Гурион не явился на торжественное собрание, посвященное 40-летию Гистадрута, ссылаясь на то, что его оскорбило "стереотипное" приглашение. Тогда к нему послали специальную делегацию, вручившую ему почетное личное приглашение. Тем не менее Бен-Гурион не явился.

Все это вызвало недовольство руководства партии Мапай. Секретариат партии выразил Лавону порицание за "неуместное" выступление.

В то же время в секретариат поступило очень резкое письмо от Бен-Гуриона, в котором он уточнил, что не пришел на торжественное заседание не из-за формы приглашения ("Это для меня все равно что прошлогодний снег", — писал он), а совсем по другим причинам, и что, как только будут преданы гласности выводы "комиссии семи министров", он еще разоблачит "художества" Лавона в Министерстве обороны.

Однако 21 декабря "комиссия семи", начавшая свою работу еще 3 ноября, единогласно принимает решение:

Приказ приступить к "Гиблому делу" дал не Пинхас Лавон.

Он был отдан Беньямином Джибли и его помощниками.

То место в копии письма Джибли к Даяну, где говорилось, что приказ отдал Лавон, сфабриковано задним числом.

Комиссия считает также, что установленными фактами подлога должны теперь заняться соответствующие судебные инстанции в уголовном порядке.

Назавтра "Давар" опубликовала решение "комиссии семи", после чего Лавон тут же заявил:

"Раз семеро авторитетнейших лиц единогласно решили так, то я полностью их решением удовлетворен и считаю "аферу" законченной".

Так думал не один Лавон, а буквально вся страна.

Иным было мнение Бен-Гуриона. Он, наоборот, решил бросить на чашу весов весь свой авторитет, чтобы добиться отмены решений "комиссии семи" и уничтожить Лавона.

В воскресенье 25 декабря решения комиссии были внесены на утверждение правительства. Ввиду сложности вопроса было решено начать заседание правительства не в 10, а уже в 9 часов утра.

Бен-Гурион явился, однако, только в одиннадцатом часу. Открыв заседание, он заявил, что не примет никакого участия в обсуждении вопроса, а ограничится лишь ролью председателя.

И как только последний оратор закончил свое выступление, Бен-Гурион немедленно поставил вопрос на голосование.

За утверждение выводов "комиссии семи" проголосовали 10 министров (Эшколь, Розен, Бен-Агарон, Барзилай, Шитрит, Шапиро, Голда Меир, Пинхас Сапир, Бен-Тов и Бург), трое воздержались (Даян, Иостафал и Абба Эвен), Бен-Гурион вовсе не принял участия в голосовании.

И лишь теперь, когда выводы комиссии были утверждены правительством и получили законную силу, взял слово сам Бен-Гурион. Он извлек из кармана заготовленное заранее заявление и обрушил — уже не только на Лавона, но и на всех членов "комиссии семи" — неслыханный шквал обвинений: Лавон, дескать, "лжец", "клеветник", "грубиян", как он в этом окончательно убедился после его выступлений перед комиссией Кнесета. Он вел себя безответственно и недобросовестно, деморализовал армию, расколол партию, действовал заодно со злейшими врагами партии. Поэтому он, Бен-Гурион, никогда и ни за что не хочет больше сидеть с ним за одним столом. Сама комиссия также действовала неправильно и пристрастно, не вызвала свидетелей, не цитировала слов, сказанных на заседании правительства, принявшего отставку Лавона в феврале 1955 года, даже не подумала о том, чтобы наказать Лавона за его неслыханную клевету на армию. Правда, он, Бен-Гурион, не утверждает, что команду отдал именно Лавон, но он знает армию и, в отличие от членов комиссии, на сто процентов уверен, что

ни один офицер ЦАХАЛа не станет действовать без соответствующего приказа, и поэтому он не может сидеть за одним столом также и с ними.

Тут он встал, собрал свои бумаги, заявил, что с этого момента считает себя в "продолжительном отпуске", и вышел вон. Перед ним зал заседаний покинул другой министр, а именно Голда Меир, которая тут же написала заявление об отставке и передала его Эшколю.

УРАГАН

Тем временем страсти вокруг "аферы" разгорались с новой силой.

В последние дни уже уходящего 1960 года около пятидесяти видных ученых страны опубликовали свою первую декларацию, резко осудившую нечистые приемы, сопровождавшие всю историю "аферы". Не принимая ничьей стороны, авторы декларации писали, что все это неминуемо приведет к "равнодушию и даже презрению к политике и политическим деятелям со стороны населения".

В ответ на это выступление генеральный секретарь партии Мапай Йосеф Альмоги (нынешний руководитель Сохнута) решил вызвать среди трудящихся волну всенародной поддержки Бен-Гуриона под лозунгом "не дадим старику уйти!"

4 января 1961 года Альмоги заявил на совещании секретарей парторганизаций Мапая:

"Уход Бен-Гуриона со своего поста будет первым шагом к развалу государства".

Два дня спустя в Хайфе он уже говорил о "разрушении третьего Храма", которое неизбежно наступит, если Бен-Гурион не пожелает возглавить правительство, и что "15 ветеранов партии объявят голодовку и умрут", если Бен-Гурион не вернется.

С другой стороны, 11 января в Иерусалиме собралось совещание более 150 представителей интеллигенции, чтобы обсудить меры борьбы с "явлениями, подвергающими де-

мократические принципы пагубному испытанию". Участники совещания, к которым тотчас же присоединились 37 выдающихся представителей интеллигенции Тель-Авива (а в дальнейшем уже сотни деятелей культуры, искусства, лиц свободных профессий, в числе которых был Мартин Бубер, Хуго Бергман и многие другие) выступили с новой декларацией, в которой, в частности, говорилось, что, если "требование сторонников главы правительства об отставке Лавона будет удовлетворено, все население убедится, что тот, кто борется за свои права и справедливость, может понести наказание даже после того, как он их добьется".

Страну между тем не переставало лихорадить. Особенно бурными были волнения студентов и академической молодежи. Сторонники Бен-Гуриона, и прежде всего Даян и Перес, ежедневно выступали на митингах и собраниях. Но убедить в его правоте им так никого и не удалось.

Назавтра после совещания в Иерусалиме (в четверг 12 января) состоялся пленум ЦК партии Мапай, где Бен-Гурион зачитал длинейшее заявление из 5 тысяч слов и переданное им еще до открытия пленума в газеты.

Заявление Бен-Гуриона и данный ему экспромтом ответ Лавона, явившегося на пленум, когда Бен-Гурион уже начал говорить, явилось по существу апогеем всего того, что принято называть "Делом Лавона".

Свое выступление Лавон завершил словами: "Если от меня хотят избавиться, то нет ничего проще: пусть секретариат или пленум прямо, открыто и, как говорят сабры, без фокусов примут соответствующее решение. Я и не подумал бунтовать, я привык, что меня увольняют!"

Дальнейшие события я не стану описывать столь подробно. Скажу лишь, что в начале февраля Лавона все-таки заставили подать в отставку и на этом вообще закончилась его политическая карьера.

Но и авторитет Бен-Гуриона был серьезно подорван, спустя несколько лет ему также пришлось уйти в отставку, и, хотя в 1965 году его сторонники создали вместе с ним новую партию РАФИ, вернуть Бен-Гуриона к власти им уже не удалось.

Что же касается египетских узников, то и после блестящей победы в Шестидневной войне (когда в Израиле находилось свыше пяти тысяч военнопленных) и казалось, нет ничего проще, как осуществить обмен и выволочь их из Каира, — это так и не было сделано: всякий раз возникало какое-то тайное, невидимое противодействие, — и невинные жертвы политической аферы продолжали томиться в египетском плену. Лишь в 1968 году благодаря титаническим усилиям руководителя Военной разведки Меира Амита, заручившегося поддержкой Гунора Яринга, каирские узники были освобождены и вернулись на Родину.

С тех пор прошло девять лет. Семь из них каирские узники провели в полнейшей безвестности, на положении некоего рода "Железной маски". Видите ли, Насеру было обещано охранить их освобождение в тайне! Но вот не стало Насера, отгремели две кровопролитнейших войны — война на истощение и Судного дня. Но так и не был снят намордник с каирских узников. Только спустя год после отставки правительства Голды Меир—Даяна, 14 марта 1975 года, ошеломленный Израиль увидел их на экранах телевизоров. Как они могли молчать так долго? Отчего молчали? "И где же была печать? Неужели наши журналисты живут больше с того, чего они не печатают, чем с того, что печатают?" Так писал журналист Аял Кафкафи после той знаменитой передачи по телевидению, но по "ряду причин" опубликовал свою статью только полтора года спустя.

"ПЕРМАНЕНТНАЯ АФЕРА"

(вместо эпилога)

Когда "афера" достигла наивысшей точки, в первые месяцы 1961 года, в Израиле произошло чудо, которое повторяется всякий раз, когда над страной нависает опасность: удивительное единение всех ее граждан, всех слоев населения.

В те дни опасность грозила, правда, не физическому, а только демократическому существованию Израиля. Но тем не менее вся страна, как мы видели, поднялась — нет, не на

защиту Лавона, — а во имя того, что он волей рока олицетворял: право человека и гражданина на справедливое решение своей судьбы.

Где-то в конце 60-х годов молодой писатель Амос Оз встретился в Лондоне с тяжело больным Лавоном и услышал из его уст предостережение, скорее, даже заклинание: "Занимайся чем только хочешь — писательством, сельским хозяйством, наукой, но только, ради Бога, не политикой, пропадешь ни за понюшку табака!"

Амос Оз спросил: почему же сам он посвятил свою жизнь политике? Лавон ответил, но Амос Оз почему-то счел нужным оставить его слова втуне. Зато он приводит ответ Лавона на еще один заданный ему вопрос: " Неужто это такое уж грязное дело, политика?" — " Наоборот, — ответил Лавон, — политика — самая чистая деятельность, стерильно чистая, и в этом-то кроется опасность: мы сами вносим в нее грязь, инфекцию и всякую мерзость, начинаем видеть в людях лишь "трудящиеся массы", "рабочую силу", "пушечное мясо" да просто пешек". (Я не ручаюсь за точность цитаты, но смысл ее именно таков; М. Л.)

А за много лет до этого в роковые дни "аферы" Шимон Перес, выступая перед студентами, сказал (согласно стенограмме, опубликованной в "Улам Азе") : "В политике не приходится искать нравственности и справедливости, там речь идет об одних лишь интересах!"

В данном случае я меньше всего хотел бы противопоставлять Переса Лавону. Как тот, так и другой был сыном своего времени и своей партии, и, борясь за личную реабилитацию, Лавон отнюдь не всегда следовал принципам, высказанным на склоне жизни. Того и другого я процитировал лишь затем, чтобы подчеркнуть два противоположных подхода к политической жизни. Ибо в них, на мой взгляд, кроется вся проблематика той перманентной "аферы", имя которой политика и в которой все мы являемся не столько участниками, сколько жертвами.

И это не в одном лишь Израиле. Так уж устроено мироздание, человеческое общество, да и сам человек, что почти

ни в чем нет однозначности, а есть плюрализм, дополнительность и свобода выбора.

Мы, выходцы из страны так называемого научного подхода к общественным проблемам, великолепно знаем, к чему привел этот "исторический эксперимент", эта миллионами жертв обернувшаяся попытка внедрить единое начало в жизнь общества. Но мы уже успели узнать, что пока еще и в свободном мире политика — это очень часто блеф, а демократический плюрализм оборачивается манипуляцией самыми святыми человеческими понятиями.

По-видимому, парламентской демократии, то есть права гражданина раз в четыре года прийти к избирательной урне, отнюдь не достаточно. Но, увы, еще не обнаружен другой метод демократического устройства общества!

Как бы мы того ни хотели, общество не может само управлять собой, а способно это делать только через политические партии, через избранных им представителей. И опасность наступает всякий раз, когда партии или лидеры, забыв о своем назначении, объявляют о собственной непогрешимости или, хуже того, начинают отождествлять себя с государством и обществом. Будем помнить, что в этой ситуации наиболее велика угроза для демократии.

Ради сохранения власти, во имя своекорыстных интересов, далеко, ох, как далеко способны пойти политические деятели! И тогда происходит одно из двух: либо гражданин, ощутив собственное бессилие, становится равнодушным к политике, а быть может, и к самой морали общества. И тогда развязываются руки у политических кондотьеров и авантюристов. Так родился Уотергейт, так произросла "афера" — вошли с черного хода в демократическое общество.

Либо есть и иной путь — искать новое.

В этот предвыборный год на наших глазах происходит и то, и другое: разочарование причудливо соседствует с бунтом и поиском. Рождаются новые движения, новые партии и списки. Но над обществом неизменно витает драматический вопрос: а возможны ли перемены? Или так и будет до скончания века — только одним дано право управлять, будто уже при рождении им положена в люльку индугенция на непо-

грешимость. И что с того, что за их спиной как укор теперь уже самой истории стоит и по сей день нераскрытая "афера"! Да и одна ли только "афера"?

Какие тенденции, какие силы одержат верх — это трудно предсказать. Но не правда ли, что граждане этой страны более не желают быть жертвами ни "перманентной", ни любого иного названия "аферы". Пусть интуитивно, но они уже понимают то, что в газете "Давар" еще 6 февраля 1961 года выразил выдающийся израильский писатель Шломо Гродзинский: "Нет на свете священных правительств, нет и святых глав правительств, нет святых начальников генштаба и нет святых генсеков — ни партийных, ни гистадрутовских. Вот она, единственная святая истина. Ею-то и будем руководствоваться!"

ГЕНРИХ ШАХНОВИЧ

"СОЛО НА БАРАБАНЕ"

юмор и сатира

(рассказы, юморески, мысли вслух)

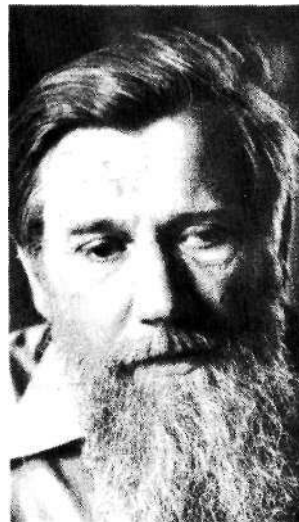
Книга выходит в свет в начале 1977 года.

"Генрих Шахнович умеет подмечать смешное. Иногда и несмешное. Даже грустное. А грустное главное потому, что оно не прошло, оно еще есть".

(Из предисловия Виктора Некрасова.)

Тема международного симпозиума в Швейцарии, куда меня пригласили (XXVes Rencontres de Geneve), звучала довольно абстрактно: "Общение и одиночество". Рассуждать на эту тему отвлеченно я не сумел. Дескать, с одной стороны — "общение", а с другой стороны — "одиночество" (проблематика Запада): каждый из нас все это переживает.

В ходе симпозиума были зачитаны прекрасные доклады — о средствах связи в современном обществе (радио, телевидение и т. д.). Был прочитан очень глубокий и интересный доклад — о языке. Мне же — стороннему человеку — захотелось перебить это "одиночество", связанное с "общением" между всеми нами, несколько иной постановкой вопроса, что я и сделал. Как выходцу из России, в пределах избранной темы мне было необходимо выйти из языка, на котором говорят. Так и получился текст, предложенный вниманию слушателей и читателей.



А. СИНЯВСКИЙ (Абрам ТЕРЦ)

"Я" И "ОНИ"

(О крайних формах общения в условиях одиночества)

Начну, для простоты, с анекдота. В женском общежитии, для работниц, где восемь или двенадцать коек в комнате, Клава задумчиво говорит своей подруге Нине:

— Ты знаешь, Нина! Сейчас, когда я сидела здесь одна, вдруг прибежал Васька, опрокинул меня — употребил — и убежал...

Задумываясь:

— И что он всем этим хотел сказать?!..

Это смешно и неловко. Но если подойти к подобному эпизоду серьезно, то насильник-Васька действительно своим неожиданным, немотивированным поступком, точнее — своим молчаливым и вместе с тем красноречивым жестом что-то хотел выразить, сказать.

Многие наши поступки, движения, в особенности носящие чрезвычайный и абсурдный характер, это — своеобразные

способы языкового общения, которыми мы пытаемся объяснить с людьми и с действительностью. Когда ее, действительность, не понимают наши самые пылкие и убедительные речи или когда нам недостает, у нас нет этих слов, мы переходим на жесты, на действия, чтобы что-то сказать. Так, спор, случается, перерастает в драку, и эта драка оказывается замещением диалога...

Но я не стану вдаваться в отвлеченную область "общения как такового", с точки зрения которой весь образ жизни человека и общества во многом лишь попытка объяснить с ближним. То есть вся история человека — это форма языка. Я хотел бы перейти на более простую и знакомую мне почву тюрьмы и лагеря. И попытаться на примере этих крайних условий человеческого существования, человеческого общения и человеческого одиночества рассмотреть проблему. Однако и отсюда, из тюремно-лагерной практики, весьма богатой, разнообразной, я намерен избрать в качестве модели лишь некоторые, редкие и необычные эпизоды разговора личности с обществом, "меня" с "ними". Те эпизоды, когда человек поставлен в положение безвыходности — языка, общения и всей жизни. И чтобы что-то объяснить и выразить, он переходит порою на совершенно особый, не поддающийся мгновенному пониманию "жаргон".

Заранее прошу извинения, что примеры и вопросы, которые я собираюсь затронуть, будут неприличны, страшны или отвратительны. Но я их не выдумывал. Я взял их из реальной практики лагеря. Все эти факты в принципе известны, и те, кто внимательно следит за лагерными мемуарами, входящими из России, о них знают. Но дело в том, как осмыслить, как понять эти факты.

Сошлюсь, во-первых, на довольно распространенный обычай среди повторно и бессрочно сидящих заключенных проделывать над собой всевозможные чудовищные, противоестественные манипуляции — в виде глотания ложек и других твердых предметов тюремного обихода, в виде снаряжения так называемого "якоря", который загоняется в член, или питья собственной крови, поедания собственного мяса.

Это "самоедство" проще всего объяснить извращением, психопатией и списать подобных субъектов в разряд неполноценного, потерявшего человеческий облик отребья. Иногда — даже в нашей лагерной литературе — проскальзывает этого рода высокомерная оценка. Дескать, те люди — не люди, доведенные системой до животного и ниже животного состояния. И спрашивается: что с такими делать? — неужто опять истреблять? наново изолировать?!..

Я не могу согласиться с этим мнением — в частности, потому, что встречался и разговаривал с подобными людьми и мог убедиться, что в большинстве это совсем не звери, не выродки и не сумасшедшие, а вполне нормальные люди, притом порой наделенные незаурядным умом и талантом. И потому перед этими фактами я разрешаю себе поставить наивный вопрос, заданный вышеназванной Клавой по поводу странного поведения Васьки: "А что он всем этим хотел сказать?"

Представим человека, который много лет — десять, пятнадцать, двадцать (и впереди ему ничего не светит, кроме нового срока) — сидит в тюрьме, попеременно с лагерем. Притом человек этот, принадлежащий к уголовной среде, никаких книжек не читает и ни о чем таком возвышенном не мыслит. Он доведен до степени отчаяния, до крайней степени человеческой нищеты, отщепенства. У него ничего нет в руках и под руками, кроме собственного тела, которым он еще может распоряжаться. Он находится на грани, но он еще не умер и не сошел с ума. Что ему прикажете делать, чтобы доказать, что он еще жив, разумен и кое-чем еще владеет? Он пользуется — в этом случае — своим телом (больше у него ничего не осталось), для того чтобы перейти на какой-то последний, тотальный язык и сказать на нем обществу примерно следующее: "Вы отняли у меня все — свободу, жизнь, землю и небо. Но вот это тело — оно мое, это моя собственность, Я здесь хозяин!.." Подчас речь эта, не сказанная и даже не осознанная, невольно строится наподобие своеобразного спектакля, который разыгрывается перед охраной, перед начальством, перед сидящими здесь же в камере другими арестантами, либо — более отвлеченно —

перед всем светом. "Самоедство" становится формой театрального действия и зрелища.

Вообразите ситуацию. Старый эк-уголовник, прошедший огонь, воду и медные трубы, больной, чахоточный, с вырезанным напополам желудком, понимающий, что ему едва ли дотянуть до воли, сидит в тюремной камере вдвоем с другим заключенным, которого он опекает и перед которым немного позирует. Назовем второго по его лагерному прозвищу — "Муха", полученному за крохотный рост и исключительную подвижность. "Муха" — мужчина, и вместе с тем, в тех обстоятельствах, это возлюбленная и жена старого, бывалого вора. Короче говоря — супружеская пара, семья. Наступает Новый год. А отметить Новый год — нечем. Все та же камера на двоих, и та же "Муха" перед глазами. Единственное, чем старший располагает для праздника, для спектакля, для угощения, это — его же тело. Тогда он самому себе — шикарным жестом — заказывает вино с мороженым. Еще раз прошу извинить меня за неприятные подробности, но без них не обойтись. Он берет железную тюремную кружку и вместо крема вводит туда сперму. Затем вскрывает себе вену и заливает мороженое вином. И оба — с праздником, с Новым годом.

Осмелюсь спросить: что это такое? И осмелюсь ответить: искусство. Искусство и более того — в некотором роде мифотворчество, восходящее, возможно, бессознательно к каким-то ритуальным жестам и жертвам (кровь и сперма как первооснова жизни), только вывернутое наизнанку в виде карикатурного, жуткого фарса.

И в нормальных условиях людям бывает трудно договориться с другими людьми, если даже одни и те же расхожие слова в ушах у каждого звучат по-разному, и, что такое "свобода" или "демократия", понимается порою противоположно, полярно, и это разноречие влечет смертоубийства ради утверждения, увековечения того, а не этого именно смысла или символа. Но еще труднее, еще невозможнее перейти на язык общения и взаимного понимания из ситуации многолетнего тюремного одиночества и конфликта со всем миром. В попытках завязать диалог здесь естественное взаи-

действие "я" и "ты" сменяется соотношением — "я" и "они". "Они" это те, для кого "ты" не "ты" (и не "я"), а тоже только ноль из безличной, чужеродной категории — "они". Общение облекается в вызов, в оскорбление, в насмешку, в передразнивание. А бывает, что и какая-то часть собственного человеческого "я" отщепляется, отчуждается и возникает угрожающее распадом личности противоборство: вот "я" сейчас из "него" (то есть — из себя самого) сделаю перед "ними" (то есть опять-таки перед собою, но взятым отстраненно, враждебно) граничащее с издевательством, с кощунством представление — эксперимент!

Возможно, тот заключенный, что из самого себя под Новый год произвел мороженое с вином, творил это зрелище и перед возлюбленной "Мухой", и одновременно перед всеми "ними", причем "они" (помимо охраны и начальников) являлись уже в какой-то мере как бы собственной его эманацией, переведенной вовне, в тюремные стены, и выступающей в этой монодраме в образе враждебного зрителя. Тюремная обстановка способствует проекции, переходу нашего "я" в "они". Человек ощущает себя исчезающим в тесном окружении стен, и от этого его потребность в общении и активность в языке возрастает. Вместо того чтобы биться в стены головой, он принимается разговаривать со стенами, как с собственной оболочкой, и ставит перед ними спектакль кошмарного и мысленно агрессивного свойства: "Вот вы меня окружили? вы держите меня? вы молчите? Так послушайте теперь, что я вам скажу!"

Простейший случай подобной игры с огнем — это когда заключенный, доведенный до крайности, до отсутствия языка, проглатывает ложку или что-нибудь в этом роде. Понятно, как всякий артист, рассчитывающий, что его эффектный, театральный трюк увенчается благоприятным финалом, он надеется, что проглоченную ложку из него потом извлекут путем хирургического вмешательства. (Между прочим, последнее время тюремное начальство, которому надоели подобные демонстрации, не торопится с медицинской помощью и порою доводит опыт до летального исхода — в назидание другим арестантам.) Но перед нами не просто

фокус, не просто "понт", говоря по-лагерному. Проглатывающий ложку артист многим рискует, и он идет на этот риск, для того чтобы в утрированно-пародийной форме изобразить, как он голоден и насколько он дошел до конца в своем истощении, если в виде символа съедает железную ложку! Не нужно думать, что он съел эту ложку буквально с голоду. Но необходимо понять, что он больше не может терпеть царящего молчания и об этом заявляет в открытую своим противоестественным действием.

Кстати сказать, надругательство над своими половыми частями — прибавление мошонки гвоздем к деревянным нарам, употребление "якоря" и так далее — это тоже способ манифестации на тему окончания жизни, последний аргумент мужчины, что он больше не в силах выносить это концентрированное давление и подаренные природой органы ему более не нужны, что он плюет на них и вместе с ними плюет на жизнь и на общество, засадившее его в эту клетку. Чем же ему еще аргументировать?..

Другие, более, так сказать, сознательные, интеллектуальные формы наглядной агитации состоят в том, что человек накалывает себе на лоб антигосударственную надпись, вроде: "Раб КПСС", "Раб КГБ", "Раб Хрущева" (подобные надписи имели хождение во времена Хрущева). Хрущев, говорят, в ответ на эти попытки объясниться с ним напрямки, отдал секретный приказ подобных писателей без суда и следствия расстреливать. Не знаю насчет приказа, но знаю, что людей, которые вытатуировали на своем лице эти живые письмена, — расстреляли. Государство просто не знало, что делать дальше с ними, с этими людьми, обратившими себя в несмыslaемую прокламацию, в незатухающую на лбу, на челе, яростную речь человека к человечеству.

Тайный приказ о расстреле всех подобных татуировщиков, комплектовавшихся, как правило, из среды отчаявшихся в свободе, в выходе на волю, уголовников, был зачитан по спецлагерям. Но удивительно, что расстрел первых "подписантов" вызвал в ответ на первых порах новую волну столь же криминальных подписей. И только после второго расстре-

ла властям удалось остановить это движение и повести на убыль...

То, о чем я здесь рассказываю, бесконечно печально. Стоит, однако, попытаться уловить в этих фактах не только сугубо местный, лагерный, дикий быт и колорит, но и какие-то общечеловеческие стимулы, имеющие отдаленную связь даже и с писательским творчеством, и с искусством как таковым. Может быть — не со всем искусством, но с какими-то сторонами и формами художественной деятельности, особенно в нашу эпоху, когда автор стоит резко обособленно и настороженно по отношению к обществу, в ситуации, так сказать, крайнего одиночества и крайней же потребности в понимании и общении. И здесь, перед лицом публики, читателей, которые помимо дружественного "вы" несут на себе печать и враждебного, глухого "они", искусство также иногда пускается на крайние меры воздействия — на эпатаж, гротеск, абсурд, фантастику, различного вида экстравагантности, что в общем можно характеризовать как форму повышенно экспрессивной, агрессивной и вместе с тем повышенно коммуникативной речи. Ведь это не просто разрыв с людьми, отказ от слушателя и от зрителя. Как это ни странно, обрыв коммуникаций влечет порою к пробуждению возросшего в своей коммуникативной значимости языка, возросшего именно в силу разобщения, отъединенности. Примером тому служит поэтика многих представлений так называемых левых течений.

Но если и не брать во внимание эти формальные крайности, сам процесс творчества во многом психологически связан с необходимостью дойти до каких-то границ жизни, а то и переступить границы, с тем чтобы что-то создать. Эта экспрессия, движущая изнутри художественным словом, совсем необязательно должна быть выражена и во внешних проявлениях стиля. Последний может быть внешне спокоен, прост, притушен и даже благообразен. И все же по скрытым своим устремлениям он остается тотальным, атакующим тюрьму языком, в котором автор умирает, чтобы в нем же воскреснуть или раствориться, сойти на нет и похоронить себя в книге. Не отсюда ли вечные попытки искусства выпрыгнуть

из окружения быта, государства, земли и самого искусства? Выйти за черту и стиля, и жанра, и собственной жизни — не в этом ли очень часто путь и задачи художника?..

Возвращаясь к ранее затронутому мною лагерному материалу, должен заметить, что все указанные случаи предельной и как бы окончательной апелляции человека к человеку ("самоедство", татуировка на лбу и т. д.) неизбежно приводят нас к следующей ступени и стадии в подобного рода атаках и, соответственно, в языке — к самоубийству. На этом предмете я не стану задерживаться, поскольку это слишком специальная, слишком хрупкая и интимная сфера, о которой много рассуждать нам как-то не подобает. Самоубийством в лагерях кончают сравнительно редко. Очевидно, сам биологический инстинкт самосохранения там обостряется, и под угрозой смерти человек вопреки всему старается выжить. Жизнь, принимающая характер сопротивления, побеждает, насколько это зависит, конечно, от физических сил человека. И если все же в этих условиях случаются самоубийства, они чаще говорят не о капитуляции, но, подобно актам публичного самосожжения, становятся способом сказать обществу какое-то самое веское и самое актуальное слово.

Но самоубийство — исключительная мера — обставлено в тюремно-лагерном ареале множеством полумер, также свидетельствующих перед лицом власти о готовности человека стоять до конца и объясниться с нею, с властью, по какому-то большому, по главному счету. Бессмысленно классифицировать этот опыт по формальным признакам. Глубокий опыт всегда целостен и конкретен — уникален. И хотя случаи повторяются, каждый отдельный эпизод гласит сам за себя. Допустим, существует такая всем хорошо известная форма индивидуального и коллективного протеста, как голодовка. Но если к ней подойти не как к традиционному, санкционированному временем обычаю, но взглянуть в ее содержание, притом содержание уникальное, внутренне психологическое, то можно понять, что это не просто распротестанный способ добиться каких-то прав и поблажек (вроде забастовки), а куда более грозный, провозглашенный

во всеуслышание — символ. Голодовка — символ смерти, выставленный напоказ, как знамя, тюремному начальству, которым человек знаменует — опять-таки в последний раз — свое нежелание участвовать в системе предложенных ему отношений и отказывается от навязанной ему режимом ненавистной формы общения. Начиная голодовку, человек как бы обрывает жизненную связь с миром, с "ними", и уходит в одиночество, под сень смерти, символически да и фактически отчасти представленной отказом от еды. И вместе с тем, очевидно, этот разрыв в общении есть особая разновидность общения, притом повышенная в семантическом и коммуникативном отношении, хотя и с минусовым знаком. Всего ярче это удостоверяют не общепринятые, массовые обычаи голодовок с предусмотренным заранее числом суток и выдвижением встречных требований к лагерной администрации. Лучше всего, что такое голодовка как символический язык дают понять нам странные и очень индивидуальные факты, когда человек вообще, навсегда отказывается от еды и тем самым весь остаток жизни обращает в вопль к обществу, к человечеству, к небу. Эти факты мало известны на Западе, но в советских лагерях с ними встречаешься, хотя, повторяю, крайне редко, в виде исключения. Человек объявляет вечную голодовку. Разумеется, на какой-то день, на двенадцатый или на семнадцатый, его начинают кормить искусственно, через нос, прибегая к физическому насилию, весьма болезненному. Но добровольно человек есть отказывается.

Поскольку его кормят насильственно, он живет еще довольно долго, несколько лет (согласно легендам, некоторые голодающие жили еще пять-десять лет), прикованный к койке, но уже обреченный, потому что с течением времени в результате такого опыта наступает необратимый паралич ног, а затем постепенно атрофируются и другие части и функции организма. Эта вечная голодовка, вечная апелляция человека к тем, кто ему не внимлет, кто сделался для него навсегда и безоговорочно — "они", и позволяет нам глубже и полнее всего уяснить истинный смысл подобных предприятий, взятых даже в их обыденной и общей форме массовых голодовок.

Вот почему, в частности, нельзя, недопустимо с моральной точки зрения заниматься социальной организацией голодовок и подстрекать других к тому; за что ты сам, по высшему счету, должен платить полной мерой ответственности. Искусственно "подстраивать" голодовки — это все равно что, идя на смерть, уговаривать своих друзей покончить самоубийством...

Но есть и другой способ "голодовки", "голодовки" в иносказательном смысле, не менее, однако, действенный как средство общения, последнего общения в условиях одиночества. Это — молчание. Молчание, принятое как единственная реакция на окружающий тебя убивающий порядок. Бывает, арестант (опять-таки беру неординарные примеры) начисто перестает разговаривать с начальством, отвечать на вопросы и вообще произносить слова, хотя он продолжает ходить на работу и выполнять все команды, кроме одной — открывать рот, когда тебя спрашивают. На безмолвие стен человек отвечает — безмолвием.

Молчание, говорят, знак согласия. В данном случае оно — знак окончательного, тотального неприятия, презрения, нежелания признать себяподобных за себеподобных. Замкнутость в языке — как знак отрицания. И этот отказ говорить, запрет на язык с "ними" (а иногда и со всем миром), между прочим, власть предержавшие воспринимают почему-то особенно чувствительно, особенно актуально. Примерно — по формуле: "он не считает нас за людей?!.." Хуже голодовок, страшнее самоубийства, молчание — оскорбляет. Молчание заставляет подозревать о чем-то таком недобром, что и словами не передашь...

Мне, возможно, возразят: а какое же молчание заключает в себе молчание? какой же это язык — молчание? Поскольку я рассматриваю все эти "выходы из языка" именно как язык, лишенный, правда, подчас обычной речевой структуры, но зато восполняющий этот пробел другими гиперболизированными способностями языка, я сошлюсь на конкретный пример. В таких вещах лучше всего быть конкретным. Был случай, когда одного человека (назовем его условно Николаем), опытного уголовника, перешедшего, однако, в процес-

се длительных испытаний в политические "диссиденты", арестовали по четвертому разу. К этому времени он уже знал назубок, что такое чекисты, что такое суд, прокурор, адвокат, и, когда его схватили последний раз — за высказывания против оккупации Чехословакии советскими войсками, — он решился на крайние меры. На следствии он не отвечал на вопросы, не подписал ни одного протокола и с первых же дней ареста объявил голодовку. На суд через несколько месяцев его доставили на носилках: сам он ходить уже не мог. И на все обвинения и вопросы суда Николай — молчал. И суд был очень недоволен. Лишь время от времени, в ходе процедуры, Николай не выдерживал судебных гипербол и, приподымаясь на своих носилках, оглашал зал заседания (суд был, естественно, закрытый) отборной, непристойной бранью — по адресу правосудия (за это ему потом добавили срок). И в изнеможении вновь валился на носилки и — замолкал. Когда его присудили к семи годам лагерей (а он до этого, в общей сложности, лет восемнадцать просидел), он вскрывал себе вены и пытался повеситься. Все это — не помогло. Так вот зададимся вопросом: где здесь язык? и где здесь больше языка? — когда он молчал? когда он объявил голодовку? когда он вешался или когда он произносил суду свои внятные слова? Вероятнее, все это было переходом с одного языка на другой (может быть, хоть один подействует). И, возможно, его немота, его молчание на суде и следствии были наиболее полным и содержательным разговором с "ними"...

Мне не хотелось бы, чтобы от тюрьмы и от лагеря, на опыт которых я опираюсь, у вас в итоге осталось только ощущение какого-то непересказуемого ужаса, где общение и одиночество слиплись в один кровавый, нечленораздельный ком. То же самое молчание, о котором мы говорили, не обязательно демонстративное, эпатажирующее, но — внутреннее молчание как степень одиночества проклятого обществом и, казалось бы. Самим Богом оставленного человека становится порою истоком самых светлых и обнадеживающих движений души и языка. В данном случае я имею прежде всего в виду поэзию и религию. В лагере, в тюрьме очень много поэтов.

Не только тех, кого за поэзию, за стихи, отправили в лагерь, но и кто здесь, в лагере, сделался поэтом, не имея доселе никаких представлений о рифме и о ритме. Очевидно, в застенке потребность в общении, превосходящем обычные, житейские связи, невероятно возрастает. Эти лагерные стихи, по безграмотности авторов, чаще всего бывают убогими, жалкими с литературной точки зрения. Но и среди этих ничтожных стихов выглядывают и звенят порою удивительные строфы и образы, которым позавидовали бы профессиональные авторы. Я не говорю уже о настоящих поэтах, писателях, которые сложились в лагере, напитались лагерем. Эти имена мы отчасти уже знаем. Я беру эту сферу, эту стихию на более низком и, так сказать, "общелагерном", "общенародном" уровне, которая и здесь бьет живым родником, выливаясь, в частности, в "блатную песню" — высшее достижение русского фольклора в нынешнем, двадцатом столетии.

Но если пойти глубже и выше (здесь понятия "глубже" и "выше" как-то смыкаются), мы столкнемся на той же основе с религиозным опытом, перед которым все мы, живущие на свободе люди, можем преклониться. И православные, и католики, и протестанты, и магометане, и иудеи, и буддисты, и даже язычники — там, в лагере, трижды веруют в Бога, по сравнению с нами, и четырежды превосходят нас в межчеловеческом религиозном общении.

Раз уж я ссылаюсь на какие-то крайние факторы, выходящие за рамки обиходных норм поведения, я позволю себе в заключение, в качестве иллюстрации, рассказать о "пятидесятниках", об одной из многих сект, церквей, подверженных гонению, члены которой идут регулярно в лагерь, порою на десять, а то и — с небольшим перерывом — на двадцать, на двадцать пять лет. Должен оговориться, что лично я не испытываю приверженности именно к этому религиозному направлению. И только опыт лагеря и попытка найти какие-то крайние формулы языка заставляют меня обратиться к примеру "пятидесятников". Это — христиане, верующие в крещение Святым Духом, Который, по прообразу апостолов, сходит

на души верующих и научает их иным языкам, в том числе языкам ангельским, что и служит слышимым, вещественным зарокотом свершившегося крещения.

"Пятидесятники" раскиданы по всему свету, их много в Америке и, говорят, в Австралии, но, вероятно, только в России, в лагере,— набирает для всех нас всечеловеческую смысловую силу их молитва на иных языках, которые сами они отродясь не разумеют и не ведают, что говорят, но вот снизошла благодать и Сам Святой Дух, как они думают, глаголет их устами. В рамках лагеря подобное (прямое) общение с Богом и со всеми народами мира, включая недоступимые, ангельские орбиты, воспринимается как странный, непонятный и вместе с тем тотальный язык, как самое одинокое и поэтому полное общение.

Когда я однажды, смущаясь, спросил моих новых лагерных друзей-пятидесятников, нельзя ли и мне когда-нибудь присутствовать при этой молитве "на иных языках", чтобы самому услышать, как это бывает, — они, к моему удивлению, охотно согласились. Меня повели в баню, в лагерную баню, где один пятидесятник работал истопником и, значит, в пустое время мог использовать банное, сырое помещение в качестве моленного места, укрытого от внимательных глаз охранников и доносчиков. Нас было трое тогда — два пятидесятника и я. Мы заперлись в бане и встали на колени на мокрый каменный пол. К моему облегчению, все началось с простой, обычной молитвы на русском языке — "Отче Наш". Как вдруг один молящийся, а вскоре и другой, стоящие на коленях по обеим сторонам от меня, перешли на неизвестный язык. Это было плавно, спокойно, без тени экстаза или истерики — переход на другой язык. Точнее сказать, это были разные, не согласованные между собой языки — первый из каких-то евррейских, северных, а второй, напоминающий восточные наречия. Они сами не знали, на каких языках молились, и мне было стыдно за это мысленное мое вторжение филологии в чистую мистику: я — прислушивался. Что это — глоссолалия? абракадабра? бессвязный набор звуков, принимаемых за ангельские? Если бы я знал языки, возможно, я бы разобрался в этих сочленениях речи. Но я

плохо знаком с иностранными языками, и я не лингвист. Единственное, что мне посчастливилось уловить, — что это была структура, гармонический язык — возможно, ангельский, возможно — я не знаю какой. Но речь значительная, осмысленная, и речь — последняя...

Мне хотелось встать и уйти. Мне казалось, молнии, мощные электрические разряды, идущие по двум громоотводам, бьющие в каменный пол бани, в полметре от меня — справа и слева, того и гляди настигнут и поразят меня в темя тем же прекрасным, кощунственным нисхождением речи, на которую я не сподобился, которой пренебрег...

А они возглашали, они говорили всему миру — сразу на всех языках, — что значит общение в условиях одиночества...

"РУССКАЯ МЫСЛЬ "

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже — 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

ОРБИТА "АПОЛЛОНА-77"

Итак — "Аполлон-77". Перефразируя Шекспира, можно смело сказать: сомкнулась связь времен! После долгой и, казалось бы, невосполнимой уже пустоты в области русского авангарда, перед нами вдруг возникает внушительная и волнующая панорама нового, ищущего непокорного искусства, которое, как выясняется по мере чтения, никогда и не умирало, а только печатно смолкло на время, вынужденное уйти "под воду", в спасительную тень нашего общего культурного подполья.

Разумеется, "Аполлон-77" — эксперимент. Но в наше горькое и трагическое время, когда политические доктринеры всех оттенков готовы проделывать (и уже проделывают!) кровавые социальные опыты над миллионами живых людей, русский авангард в любой области нашей духовной жизни, будь то искусство, литература или борьба за права Человека, оперирует только словом, звуком, краской. И этот самый безобидный и самый бескровный из экспериментов тем не менее и самый многообещающий в исторической перспективе. Именно поэтому его — этого эксперимента — так боятся филистеры и тираны. Но ни тюрьмы, ни травля, ни замалчивание, ни бульдозеры не в состоянии остановить авангардного процесса. Уж такова бессмертная сущность искусства. И с этим, как говорится, ничего не поделаешь. "Аполлон-77" — еще одно красноречивое доказательство.

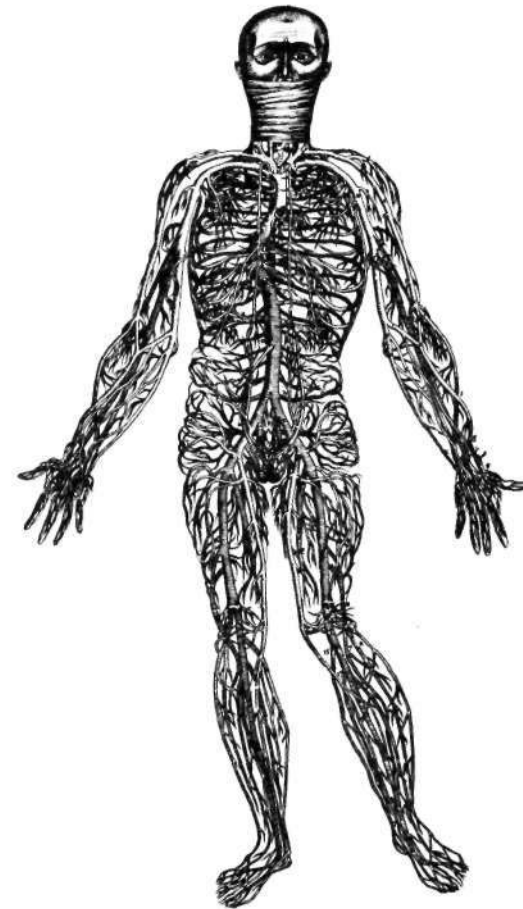
Владимир МАКСИМОВ

Как известно, несравненная богиня рождалась заново из нежного, ничтожного материала — из пены морской. Почему бы и другому, более серьезному божеству не возобновить себя на основе некоторой иной волны? И вот он перед нами, молодой красавец "Аполлон-77", герой не только дня, но и мгновения минуты, райская стрижка, фасон полубог. Кому не нравится имячко, зовите как придется, хотя бы "Михаил-77", он откликнется.

Значительно разные по возрасту, мы все соединяемся только в одном: читайте книгу, источник знания. Многие забывают умное правило: французская душа во французском теле — и, как мустанг, дико скачут в пампасы грамматики. Другие искоса колдуют, прижмываясь в тени светила: Пушкин — это я и Солженицын — тоже я, только не хочет признаться в этом публично, а тогда бы я, может быть, с ним примирился. Фома Фомич Опискин, дорогой! Приглашаем и вас в наше светлое прошлое. Места хватит на всех. Литература — это художественная обработка себя самого.

Владимир МАРАМЗИН

АПОЛЛОНЪ - 77.



Роальд *МАНДЕЛЬШТАМ*

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

Запах камней и металла.
 Острый, как волчьи клыки,
 — помнишь? —
 В изгибе канала
 Призрак забытой руки
 — видишь? —
 Деревья на крыши
 Позднее золото льют.
 В "Новой Голландии"
 — слышишь? —
 Карлики листья куют.

И, листопад принимая
 В чаши своих площадей.
 Город лежит, как Даная,
 В золотоносном дожде.

ПРОДАВЕЦ МАСОК

Моя длиннополая шляпа
 Сегодня у всех на виду.
 Я вечером синим заляпан
 В промокшем весеннем саду.

Я всех узнаю без ошибки,
 Горланю у всех на пути:
 "Носите печаль и улыбки
 В цветную пургу конфетти!"

Хлопушки и маски-гримаски,
 Билеты на бал-маскарад —
 Из будки дурацкой окраски
 Я вечно выкрикивать рад.



ПРОДАВЕЦ ЛИМОНОВ

— Лунные лимоны!
 — Медные лимоны!
 Падают со звоном —
 покупайте их.

Рассыпайте всюду
 Лунные лимоны —
 Лунно и лимонно
 в комнате от них.

— Яркие лимоны!
 — Звонкие лимоны!
 Если вам ночами
 скучно и темно.

Покупайте луны —
 Лунные лимоны.
 Медные лимоны —
 золотое дно.

ДИАЛОГ

— Почему у вас улыбки мумий,
 А глаза, как мертвый водоем.
 — Пепельные кондоры раздумий
 Поселились в городе моем.

— Почему бы не скрипеть воротам.
 — Некому их тронуть, выходя:
 Золотые метлы пулеметов
 Подмели народ на площадях.



Аркадий **РОВНЕР**

ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ

Я расскажу вам, как умер мой отец. Мы жили тогда в маленьком городке с дурашливыми людьми. Они ходили обычно по трое-четверо отыскивая новичков или зазевавшихся детей. Найдя, они начинали петь и плясать под свое пение, при этом выбрасывали вперед руки. Рассеянные и нерасторопные люди не успевали опомниться, как оказывались жертвами — из них вытягивались самые тонкие и важные силы, им же оставлялась их мясная мусорная жизнь до глухой смерти.

В то время я был почти еще ребенком, и отец отдавал меня помощником в лавку. Было утро, лавка не открывалась, хотя в ней уже возились трое лавочников. Я же сидел на приступке и разглядывал прохожих. Неожиданно четверо разодетых в карнавальные костюмы остановились передо мной и стали весело, азартно плясать. Я быстро опомнился и убежал в лавку. Музыка и движения были так легки во мне, что я сам начал танцевать перед лавочниками. Те, перепугавшись (все в нашем городе знали, что означает этот танец), сразу отослали меня домой.

По дороге я встретил отца и стал ему все рассказывать. Он тоже встревожился и попросил меня повторить движения, чтобы проверить, нет ли здесь простой ошибки. И я тут же на улице стал показывать, как эти четверо плясали передо мной. Вдруг мы увидели, что к нам спешит невысокий плотный человек, лысый, с очень жестким лицом. Человек этот завел нас во двор и остановился перед раскрытыми дверцами погребба. Быстрым движением столкнув туда отца, он прыгнул следом сам. Они были на лестнице: отец вверх ногами, как бы стоя на голове, а рядом, наступая ему на волосы, толстяк, мутно отблескивая неровными гранями черепа. Я попробовал пригрозить ему полицией. "При чем тут полиция?" — сказал тот устало и закрыл за собой дверцу.

Теперь уже не было погребба, а был круг. Трава внутри



круга росла немного реже. Отойдя, можно было совсем потерять это место. Однако я не уходил, а внимательно разглядывал траву и кустики. Листья растений внутри круга были с прожилками, нервными и выпуклыми, как вены. И земля была вроде теплей, чем вокруг.

Я пробыл в этом дворе целый день и вечер. Я даже принес камень, чтобы наблюдать это место сидя. Скоро я заснул на камне и проснулся от звуков: земля пузырилась. Круг, перед которым я сидел, раздулся, и вдруг один край приподнялся, и оттуда вышел отец, оглядываясь, будто продолжая с кем-то разговаривать. Почти не замечая меня, он сел на камень, с которого я соскочил от страха, и стал кричать какие-то вопросы в яму. Я пробовал увести его, но он только отмахивался. Между тем земля шевелилась уже под ногами, а из щели, откуда вылез отец, полилась обжигающая прозрачная влага.

Я отходил по мере того, как она наступала. Отец же на камне, казалось, ничего не замечал, подолгу ожидая ответов, снова и снова заглядывая в глубину. Может быть, он что-то слышал оттуда, кроме шипения, уханья, плеска, но я был далеко. Уже на улице я услышал его голос, зовущий меня по имени. Я крикнул: "Неужели ты думаешь, что я приду спасти тебя?"

Так погиб мой отец.



Юлий МАРГОЛИН

СЕНТЯБРЬ, 1939

1. НАЧАЛО

Летом 39 года мы не верили в войну. Каждый из нас знал, что война неизбежна. Никто не был готов к тому, что она начинается завтра. Действительность показала, что не была готова польская армия, не была готова западная и заокеанская Демократия. Евреи города Лодзи — четверть миллиона приговоренных к смерти людей — были готовы меньше всего. За несколько дней до катастрофы толпы демонстрантов прошли по улицам Лодзи с транспарантами: "Отобрать польское гражданство у немцев!" Проходя по еврейским улицам, демонстранты кричали: "Придет и ваша очередь, евреи!"... Две недели спустя Лодзь была в руках немцев.

Накануне войны поляки объясняли корреспондентам французских газет, что Польша достаточно сильна, чтобы противостоять Германии без помощи Советов. Две недели

спустя они приняли бы эту помощь на коленях, с цветами и триумфальными арками. Но уже было поздно. 17 сентября 1939 года Красная Армия вторглась в Польшу, как союзница Гитлера.

Летом 39 года мы не верили в войну. Тысячи людей, пребывание которых в Польше было не нужно и которые могли бы ее оставить при желании, легкомысленно оставались на месте. Массы еврейского населения оставались на месте. По одну сторону был Гитлер, по другую — весь мир. Казалось невероятным, чтобы Германия решилась воевать на два фронта.

И только вечером 23 августа 39 года стало ясно, что будет война. В этот вечер мир узнал о пакте Сталина с Гитлером. Чувство ужаса, с которым мы приняли это известие, можно сравнить с чувством посетителей зоологического сада, на глазах которых отворяется клетка с тиграми. Встают голодные звери, и дверь из клетки открыта для них. Это и было то, что "вождь народов" сделал 23 августа: спустил на Европу бешеного зверя — дал благословение немецкой армии броситься на Польшу. За этот "мудрый шаг", в защите которого изощряются продажные перья, десятки миллионов заплатили жизнью. За преступление 23 августа Россия заплатила океаном крови и нечеловеческими страданиями. Это не был кратчайший путь к уничтожению Гитлера, но зато — кратчайший путь к разгрому Европы. В сентябре 39 года начался разгром Европы с благословения Сталина. "Вождь народов" мог быть доволен исходом своей игры, хотя первоначальный расчет его и не оправдался. "Столкновение хищников", как назывались события 39-40 годов в советской версии, пришлось спешно переименовать в "великую оборонительную войну мировой Демократии". Злорадная улыбка, с которой советские правители наблюдали мировой пожар, очень скоро сменилась выражением ужаса. Для нас, маленьких людей, кровью которых торгуют на политическом рынке, день 23 августа 39 года — мрачная и зловещая дата.

Между 1 и 17 сентября мы пережили патетическое зрелище крушения Польши. Государство с населением в 36 миллионов, целый мир, полный добра и зла, исторических тради-

ций и тысячелетней культуры, обвалился как карточный домик. Война была проиграна в первые же полчаса, когда польские силы под Познанью не выдержали удара немецких танковых дивизий.

В тот первый день сентября утро в Лодзи началось нормально. Телефон зазвонил на рабочем столе в одном из кабинетов учреждения, где я был занят. Человек за столом снял трубку телефона, и вдруг лицо его побагровело, глаза расширились, и он начал кричать диким голосом в трубку: "Что, что такое?"

Я кинулся к нему: "У вас дома случилось что-нибудь?"

Он бросил трубку: "Немцы бомбардировали с воздуха Варшаву, Краков, Львов... Война!"

В тот день Лодзь еще не подверглась воздушной атаке. Но на утро следующего дня нас разбудили взрывы... Над городом плыли немецкие эскадрильи треугольником. Стрельба редких зениток их не беспокоила и не мешала им... Мы могли убедиться, что небо над нашими головами уже принадлежало Гитлеру: в тот момент, когда самолеты проплывали над моей головой, я понял, что ничто не мешает им выложить бомбами любую площадь и улицу города; если они этого не делают, то это добрая воля немецкого командования. Мы представляли себе войну иначе.

На третий день воздушные тревоги следовали, не прекращаясь, одна за другой. Остановилась нормальная работа, не было нормального сообщения, не было известий о ходе военных действий, кроме немецких. Несчастье надвигалось.

Ночью третьего дня, в слепой и безглазой, затененной Лодзи я наткнулся на первую безумную женщину. Сумасшедшая металась по тротуару во мраке, ломая руки, лепеча бессвязные слова. Может быть, ее семья была только что убита немецкой бомбой, и она уже не знала, где ее дом, где ее место. Лавина человеческого горя шла за ней — первой. Я не узнавал знакомых улиц мирного города, они превратились в джунгли, в их черных провалах таилась смерть.

Немцы подползали, как исполинский холодный гад, и каждый вечер доходил до нас голос Фрицше, гнусавый и медленный, ядовито-злой, полный насмешливого торжества

и угрозы. Немецкая радиопередача на Польшу начиналась с полонеза Монюшко. Эту торжественно-плавную мелодию я до сих пор не могу слышать без содрогания, как будто ее перечеркнули поперек гакенкрейцем.

На рассвете пятого дня я уехал из Лодзи.

Ранним утром мне позвонили по телефону: "Есть место в автомобиле. Ждем 15 минут". В то утро немцы стояли в 50 километрах от города. Я взял портфель и вышел на улицу. Сияло яркое сентябрьское утро. "Пока доберусь до дому, пройдет, может быть, месяц, — подумал я. — Надо взять пальто". Вернулся. Снял с вешалки летнее пальто, повесил обратно. И взял — мало ли что может быть — солидное осеннее пальто с клеймом лодзинского магазина — "Энигкайт". С этой "Энигкайт" и портфелем, куда растерявшаяся прислуга сунула почему-то домашние туфли, я уехал из Лодзи.

В отличие от других евреев я твердо знал, где мой дом. Дом мой находился в Палестине. С 1936 года моя семья находилась там, и в это лето я был в Польше на правах гостя. С Польшей связывал меня только мой польский паспорт... и сантимент польского еврея.

О патриотизме польских евреев можно говорить уже в прошедшем времени. Нет больше польских евреев. На улице Берка Моселевича живут поляки, которые обойдутся без нас и нашей привязанности. Но в то утро, когда началась моя беженская эпопея, я был искренне взволнован, и польская трагедия заслонила в моем воображении ту единственную, о которой следовало думать: трагедию моего народа.

За 20 лет своей независимости Польша Легионов совершила три преступления, за которые теперь наступала расплата: три ошибки, из которых каждая равнялась преступлению перед судом Истории и человеческой совести. Первым преступлением со стороны народа, только что сбросившего ярмо национального порабощения, была его политика по отношению к национальным меньшинствам. Белорусы, украинцы, литовцы и евреи были подавлены и лишены равных прав в польском государстве. Вторым преступлением была нечеловеческая и хищная идеология польской "правой" — политический цинизм во внутренних отношениях, который

в особенности после смерти Пилсудского привел к популяризации гитлеровских методов в польском обществе и искажил моральные черты польского народа гримасой антисемитизма — вплоть до сегодняшнего дня. Третьим преступлением была внешняя политика, нежелание служить обороне европейской Демократии, что выразилось в 1938 году актом постыдной измены, когда Польша помогла Германии в разделе Чехословакии и этим свила веревку на собственную шею. Гитлер использовал помощь Польши, чтобы раздавить Чехословакию, — и через год помощь России, чтобы раздавить Польшу. Тот же был метод — и тот же расчет на слепую жадность и продажный цинизм своих партнеров.

Автомобиль вынес нас из Лодзи. По обе стороны шоссе лежали рощи, поля и луга, залитые летним солнцем, лежала польская земля, живая мишень убийства. 130 километров до Варшавы нас сопровождали немецкие самолеты; экипажи бомбардировщиков рассматривали прогулку над Польшей, как безопасный и веселый спорт: городки, через которые мы проезжали, замедлив скорость, были запружены народом и сгрудившимися обозами; паника зарождалась на наших глазах. Поздней ночью начался массовый исход из Лодзи, когда десятки тысяч двинулись из обреченного города. Мы опередили эту волну на 15 часов.

В тот день, прощаясь навеки с мирным польским пейзажем, я думал о стране, которая, по словам Пилсудского, была "осуждена на величие" — но не сумела быть великой. В Шопене и Пилсудском даны два полюса польского духа: музыка Шопена — без грана твердости и мужской силы и подвиг Пилсудского, героический, но лишенный последней глубины и мировой перспективы. Между ними двумя не было настоящей середины, не было политического такта и умения творить новое, не отуманиваясь гордостью. Шопен и Пилсудский оба остались без продолжателей. Неправда, что Польша — "Европа второго сорта", как сказал кто-то неумный. Польша — настоящая Европа. Мицкевич и Словацкий, Прус и Жеромский — европейцы первого ранга. Но Польша никогда не шла в авангарде, всегда это был арьергард Европы, пограничье, со всеми его недостатками и опасностями... В тот

прощальный день мне были дороги ее дворы, и плетни деревень, и шпилы костелов, и я желал ей выйти из страшного испытания возрожденной и свободной, действительной участницей великого демократического подъема Европы, в который я верил... Мысль о том, что Гитлер или Сталин могут выйти победителями из этой войны, даже не приходила мне в голову.

Варшава кипела, как котел, в паузе между двумя налетами. Саксонская площадь была заставлена машинами, прибывшими издалека. В гостинице "Европейская" не было мест. Не было бензина, и мы потеряли два дня в поисках горючего. На 5-й день войны не было уже дневного сообщения на железных дорогах и попасть в поезд было делом счастья.

Я ночевал на краю города. Ночью радиотревога подняла на ноги население столицы: "Немцы прорвались — рыть окопы!" Все ушли из квартиры, где я спал. Поднялся и я, чтобы не оставаться одному в чужом доме. В два часа ночи я пришел на опустевшую Саксонскую площадь. В вестибюле "Европейской" меня встретил, зевая, швейцар. "Никого нет — все евреи разбежались!" — сказал он, пристально глядя на меня, как бы удивляясь, что я остался. Я спросил о своих спутниках. "Уехали!" — равнодушно сказал швейцар. Делать было нечего, я взял номер и лег спать, с тем чтобы утром купить себе рюкзак и пойти пешком через Вислу.

Но ранним утром — первые, кого я увидел в вестибюле отеля, были мои лодзяне. Ночная информация была неправильна. 7 сентября, в 11 часов утра, мы выехали из Варшавы. Первые несколько километров до Минска мы двигались шагом в густой толчее. Невообразимая каша клубилась на шоссе, пешие, конные, детские возики перепутались с платформами и грузовиками, автобусы с телегами и бричками, фургоны с пассажирскими автомобилями и ручными возками, нагруженными жалким скарбом. Шли женщины, держа за руку детей, молодые люди, по-походному, с сумками и мешками. Въехав в середину, мы уже не могли выбраться и двигались в общем потоке. Вдруг низко показались немецкие самолеты (польских мы так и не видели до самой румынской границы). Толпа бросилась врассыпную. Мы

тоже оставили наш "бьюик" и залегли в картофельном поле под изгородью. Но в тот день еще не бомбили беженцев. Только назавтра разыгрались страшные сцены по дороге в Люблин, и шоссе было на метры залито кровью... Мы выбрались понемногу из затора, от Минска (30 километров за Варшавой) дорога стала свободна. Из сферы воздушного обстрела мы еще не вышли. Все города на нашем пути были засыпаны бомбами. Немцы были одновременно повсюду. Мы проехали горящий Седлец, на улицах стоял вой, полицейский бил резиновой палкой неистово вырывающуюся женщину. Проскочили деревни, где горели хаты. Жужжание в высоте не оставляло нас. Остановились перед Мендзыжецом, ожидая конца налета. Нам казалось — еще один бросок вперед, и мы оторвемся от войны, останется только летний зной и невозмутимая тишь проселочной дороги, где плетется фурманка с дремлющим бородатым евреем.

Наконец мы въехали в Брест и стали на Ягеллонской. Я вышел, разминая ноги, и сразу подошел ко мне человек, улыбаясь и прртягивая руку: "Не узнаете?" Это был адвокат, с которым я встречался в другом городе семь лет тому назад. "Я местный житель, вы переночуете у меня".

Услышав, что делается в Варшаве и о волне беженцев, которую мы опередили, наш хозяин побежал покупать телегу и лошадь, чтобы быть готовым в путь. Мы занесли в Брест панику, от которой спасались... На следующее утро мы выехали на Вольнь.

Фронт тек за нами, но в 200 километрах за Варшавой ничего не было известно о действительном положении. Поляки возлагали надежды на какую-то фантастическую помощь с Запада, на английский воздушный флот, на французский прорыв линии Зигфрида, на вмешательство Красной Армии. Офицеры лгали солдатам, местные листки сообщали в огромных заголовках о прорыве польской кавалерии в Восточную Пруссию, о бомбардировке Берлина и о вторжении французов в Саарскую область.

В Ковеле мы нашли уютную еврейскую провинцию, запущенные сады и деревянные крылечки, просторные дворы и трактир, переполненный именитыми гостями из Варшавы.

Босые ребятишки, засунув палец в рот, смотрели, как на завалянке у корчмы сидели необычные гости: дамы в изящных дорожных костюмах, толстые лодзинские фабриканты и сам варшавский вице-бургомистр. В конце улицы был кибуц, там еврейская молодежь проходила подготовку к будущей жизни в Палестине. На стенах висели портреты, на столах лежала уже ненужная литература. Все опоздало. "Бегите отсюда, — хотелось мне сказать им, — не полагайтесь на старших больше. С них взятки гладки, они ничего не знают и ни за что не отвечают...". Но уже поздно было убеждать и разговаривать.

Ночью проехали Луцк в веренице машин с затемненными огнями.

Следующий этап был в Ровно. Город был полон беженцев из Кракова и Львова, эвакуированных учреждений. Министры рассеявшегося правительства, задерживаясь в Ровно, рассказывали небылицы о кулаке, который собирается для контрудара по немцам, и дискретно исчезали в направлении румынской границы. На дорогах стояли брошенные автомобили, бесполезные ввиду отсутствия бензина. Владельцы их охотно меняли дорогую машину на телегу с лошадью. У нас еще был бензин, но машину приходилось прятать, чтобы не реквизировали военные власти. Магазины и лавки были закрыты или пусты; начинался вслед за политическим бытовой развал: недостаток продовольствия и товаров, отсутствие всякого представления о том, что будет завтра.

В Тернополе галицийские евреи с длинными пейсами и в черных халатах поразили нас своим полным спокойствием. Все окружающее как будто не имело к ним прямого отношения. Полагаясь на Бога, они решили раз навсегда не предупреждать событий и ждать, пока снова можно будет торговать...

На узкой тернопольской улочке я услышал из уст молодых польских сестер милосердия, в хаки и с противоголом, слова ядовитой ненависти, погромные речи о евреях... Им не терпелось.... Это были сестры или матери тех шестилетних детей, которые позже бросались на еврейских стариков и женщин и вырывали у них волосы — детскими ручон-

ками. В тернопольской толпе уже были первые симптомы деморализации и ожидания новой власти. Были там особые беженцы: польские семьи из района, бежавшие в город из страха перед украинской расправой.

15 сентября мы прибыли в Чертков... В этот живописный городок, по красоте своего горного расположения напоминающий ландшафты Италии, мы ворвались, минуя военную заставу. Въезд в Чертков был запрещен. Поэтому, не доезжая полкилометра, мы вышли из автомобиля и пробрались в город пешком. Шофер наш и товарищ, Шимкевич, съехал машиной с насыпи и проехал задними дворами и переулками. В городе проживал родной брат одного из нас. Мы были приняты с почестями и радушием. Здесь было тихо и спокойно; после 10-дневной дороги это был сущий оазис. Мы укоряли себя, что в мирные времена пренебрегали красотами Черткова, и были готовы посидеть здесь некоторое время... до выяснения положения.

Положение выяснилось скорее, чем мы думали.

17 сентября было в Черткове тихое летнее утро. Я проснулся и пошел в "Староство" просить о пропуске в Залещики. К моему удивлению, я застал в здании "Староства" зияющую пустоту. Двери кабинетов настежь, ящики столов раскрыты, в коридорах ни души. Картина спешного бегства. В дальней комнате у окна стояли два референта и смотрели в небо, где кружила стайка самолетов.

"Это их самолеты, наверно!" — сказал с дрожью в голосе референт.

Я изложил свою просьбу, но он едва меня слушал.

"Да езжайте куда хотите, ради Бога... Какие теперь пропуска?"...

Я вышел на улицу, ничего не понимая. Зашел к соседу, включил радио.

В эту минуту радио передавало текст речи Вячеслава Михайловича Молотова. Торжественное сообщение всему миру о том, что на рассвете сегодня Красная Армия перешла границу, чтобы ввиду распада Польского государства взять под свою защиту родственные народы Западной Украины и Белоруссии.

Через час мы стремглав мчались из Черткова. Бензина могло в обрез хватить до румынской границы. Мы объезжали колонны польских войск; солдаты смотрели на горизонт — не идут ли советские танки? — и офицеры объясняли им, что Красная Армия идет на выручку.

У Залезник нам загородили дорогу. Мы опасались, что советские авангарды нагонят нас, и решили продолжить путь в Снятин, полтораста километров дальше.

В час дня мы прибыли в Снятии, 5 километров от румынской границы. Там мы узнали, что граница герметически закрыта. Еще два дня назад можно было за деньги перейти ее. Но теперь и деньги не помогали. В связи с событиями румыны выставили тройной кордон войск на границе. Прорваться было невозможно.

терять нам было нечего. Каждый из нас имел за границей семью: я — в Палестине, другие — в Париже и Лондоне. Каждый имел заграничный паспорт в кармане. С наступлением темноты мы выехали на границу.

В Снятине в первый раз мы увидели польские самолеты: 8 аэропланов описало круг над городом, прощаясь с Польшей — и повернуло за Прут. В Снятине был единственный пункт, где польская армия была моторизована на сто процентов — пехотинцев не было. На границе стояла вереница военных автомобилей, грузовиков, пассажирских машин, занятых войском, длиной в 4 километра. Румыны ночью стояли в три ряда, медленно передвигались во мраке, дорога кишела людьми, была полна перекликающихся голосов, сигналов, взбудораженной суеты. Мы упустили единственный шанс: следовало бросить наш прекрасный "бьюик", смешаться с толпой и миновать границу с группой военнослужащих, под покровом темноты. Но мы были еще новичками: как рисковать, как вдруг решиться на приключения, на лишения? Наша черная мощная машина вдруг показалась нам надежным оплотом, как корабль ночью в открытом море среди бури. Мы видели, что она была не единственной гражданской машиной в очереди. И ночь прошла в нервном ожидании, в мерном продвижении к заветной черте, где под аркой стоял ру-

мынский офицер с фонарем и отмечал число солдат на каждой машине: "Следующая! Следующая..."

На рассвете пришла наша очередь. Нас пропустили на 5 метров за границу. Рядом с румынским офицером стоял польский, помогал разбирать и вылавливать евреев. "Документы! — и прочел на паспорте нашего шофера: "Шимкевич Мойше"... Остальные были не лучше.

Нам велели выйти из машины и вернуться. Автомобиль достался румынам. "Не дадим машины большевикам!" — объяснил по-немецки румын. Рядом ругался француз, которого тоже не пропустили. Ему объяснили со стороны в чем дело: в его машине оказался случайный попутчик — еврей. Дело сразу уладилось: еврея высадили, француз укатил, обрадованный. Хорошо быть французом.

Мы отвоевали все же право забрать с собой свои чемоданы. Разразился неистовый ливень. Под проливным дождем мы потащились обратно в Снятии, с чемоданами, пешком. Это не было триумфальное шествие. На окраине местечка я, должно быть, выглядел довольно жалобно, потому что на дорогу вышла еврейка и позвала меня отдохнуть и выпить чаю, таков был мой дебют в роли бездомного бродяги.

В тот же день группа палестинцев сделала последнюю попытку прорваться домой: предложила румынским властям пропустить их в Констанцу, прямым транзитом к пароходу, в автобусе под конвоем жандарма. Мы простояли полдня на пограничном мостике, ожидая ответа по телефону из близких Черновиц. В конце концов нас прогнали с руганью. Смеркалось. Мы решили, что утро вечера мудренее.

На следующий день было безоблачное небо и солнце, Играла музыка и весь город был на ногах: ночью вошли советские войска.

На высокой башне ратуши развевалось красное знамя, танкетки стояли на площади, и улица кишела народом. Красноармейцы стояли, окруженные густой толпой. Каждый был в центре круга, его забрасывали вопросами, теснились посмотреть как на диво. Возникли десятки импровизированных митингов. Добродушные солдаты, не выказывая ни тени

удивления или смущения, отвечали на все вопросы. Началось мое путешествие в Россию, хотя в эту минуту я и не подозревал этого.

Украинские крестьяне, в белых свитках, интересовались ценами на хлеб, а сапожник спрашивал, почем сапоги. Всех интересовали заработки в Советском Союзе, и все были ошеломлены необыкновенным благополучием советских граждан.

"Я сам сапожник, — говорил рябой парень, усмехаясь и покачивая остроконечным штыком. — Я до тысячи рублей зарабатывал".

"А сапоги сколько стоят?"

Тут он подмигнул и спросил:

"А у вас сколько стоят?"

Ему назвали цену.

"Ну, и у нас, к примеру, столько же", — сказал парень, не задумываясь.

Группа красноармейцев стала в кружок:

**Рас-цве-тали яблони и груши,
По-плы-ли туманы над рекой,
Вы-хо-дила на берег Катюша...**

Мелодия "Катюши" всем очень понравилась... Еще три дня тому назад никто не ждал в Снятине этих песен. Польские летчики в красивых черных мундирах, офицеры в рогатых шапках, гражданское польское население, как ошеломленные, старались понять что случилось, не верили глазам...

Только годы спустя, находясь в Советском Союзе, я понял, какую комедию отломали в это лучезарное утро веселые красноармейцы — как вдохновенно и стопроцентно ввали нам ярославские и уральские паренки, как они над нами потешались, рассказывая о сапогах по 16 рублей и колхозном рае. Видимо, были у них на этот счет инструкции или сказался своеобразный русский патриотизм — утереть нос полякам. Надо сказать, что евреи сразу возымели некоторые подозрения: услышав, что "все есть", "у нас все есть!", стали задавать каверзные вопросы: "А есть ли у вас Копенгаген?" Оказалось, что "как же, есть и Копенгаген, сколько хоти-

те!.." Еще яснее стала картина, когда комендатура распорядилась открыть все магазины, объявила, что золотый равняется рублю, и на лавчонки обрушилась лавина советских покупателей. "Рубль за золотый!" — это им даром отдавали остатки буржуазного изобилия, как премию победителям. Позже я видел, как в пустые магазины во Львове входили командиры и, не умея читать по-польски, спрашивали, что здесь продается. Им было все равно, что покупать — гвозди, чемоданы, купальные костюмы. И о цене не спрашивали, так что евреи сперва набавляли скромно — 10, 20%, а потом соображали, что этим людям нужны любые вещи за любую цену.

Три года спустя я встретил в советском лагере заключенного, одного из тех, кто в сентябре 39 года "освобождал" Западную Украину. Я его спросил, какое впечатление произвела на него первая увиденная им "заграница". И от него я узнал, что думали в те дни красноармейцы, которые на улицах Снятина рассказывали слушателям о привольном советском жилье.

"Это Рокитно, куда я попал, — местечко небольшое. Но ребята прямо ошалели, когда посмотрели, сколько этого добра по квартирам. И зеркала, и патефон, а еще жалуются, что им плохо было. Ну, думаем, погодите, голубчики, у нас забудете жаловаться. В особенности лавки с мануфактурой поразили — товар не только за прилавком на полках, но и с другой стороны, где покупатели. Полно! Не по нашему живут. Там сразу попрятали товар, но я все же нашел ход, и, верите ли, сколько я какао купил! По 15 рублей кило, а до нас, говорят, на копейки продавали. Жаль, повернули нас обратно, и не пришлось попользоваться..."

До конца сентября мы прожили в советском Снятине. Стояла чудесная ранняя осень. Я жил на окраине, в домике со стеклянной верандой и палисадником. Астры и мальвы цвели под окном. Хозяйка моя, старая полька, была одна с такой же старушкой прислужгой, и обе были смертельно напуганы. С утра я сходил с обрыва к реке купаться. По ту сторону Прута синели холмы — это была Румыния. Оттуда через несколько дней стали возвращаться группы поля-

ков: румыны обошлись неласково, загнали в лагерь в открытом поле, на обед велели копать картошку, похитили ценные вещи.

А в Снятине была идиллия: на рынке людно, советские командиры заняты покупками и отменно вежливы. Население организовало демонстрацию приветия Красной Армии. Разукрасили город, и человек 700 прошли перед зданием комендатуры с красными флагами и криками "Да здравствует!" и "Ура!" Большинство были евреи. Несколько украинцев шли сзади. Поляков не было. Если принять во внимание, что в Снятине было тысяч пять евреев, которые имели все основания быть благодарными советской власти, то процент еврейского энтузиазма был относительно невелик. Но поляки не видели тех тысяч, которые остались дома. Для них это была "еврейская демонстрация". И вечером того же дня польская патриотка, учительница, горько жаловалась мне на снятинских евреев.

Нелегко нам было расставаться с румынской границей. Мы все еще не сдавались, искали проводников, ждали okazji. Как долго можно было оставаться, не привлекая внимания органов советской власти? Вечерами, в частном доме, мы собирались слушать радио — единственную связь с внешним миром. Еще держалась Варшава, еще продвигалась Красная Армия, еще мы ждали чудес на Западном фронте. А в сонном пограничном городке был остров тишины.

Крыши украинских хат были выложены золотой кукурузой и тыквами. В белом здании Сионистской Организации со щитом Давида на фронтоне расположилось советское учреждение. И мы, заблудившиеся европейцы, которым все это казалось сном, вместо того чтобы читать "Экклезиаст", абонировались в еще незакрытую частную библиотеку и читали запоем Монтерлана, писателя антисоциального и незаконного, автора гениальных парадоксов, врага нашего Монтерлана, будущего прислужника Виши.

Охотников переводить нас через границу не находилось. Наконец мы предъявили в комендатуре свои заграничные паспорта, украшенные многими визами, и скромно попросили — пропуск за границу. Усатый бравый командир с явным

неодобрением вертел в руках синие книжечки с польским орлом на обложке. Телефон позвонил. Комендант сделал страшное лицо и рявкнул в телефон:

"Какой магистр фармакологии? Вы эти титулы бросьте, пожалуйста! Прошли времена панов и магистров! Из аптеки? Так и говорите, что из аптеки!"

И обратившись к нам:

"Кто такие?"

Мы объяснили на чистом русском языке, пропуская титулы, кто мы такие, и комендант предложил нам получить бесплатный беженский проезд в столицу Западной Украины — город Львов.

2. В КОЛЬЦЕ

В сентябре 1939 года половина польского государства была занята Красной Армией.

Польские войска не оказали сопротивления, не были в состоянии и не хотели бороться. В случайных стычках было несколько сот убитых и 2000 раненых. Это и была та "совместно пролитая кровь", которая, согласно телеграмме Сталина Гитлеру, должна была стать фундаментом советско-нацистской дружбы. Население встретило Красную Армию как ангела-избавителя. Не только евреи — и поляки, и украинцы, и белорусы открыли свои сердца Советскому Союзу. Вступление советских войск было понято всеми не как заранее договоренный и циничный раздел Польши, а как неожиданно выросшая на пути гитлеровцев преграда: "досюда — и ни шагу дальше". С восторгом передавалось, что немецкие дивизии отходят перед Красной Армией. В городе Ровно воевода распорядился построить триумфальную арку и велел делегациям от населения приветствовать вступающие войска. Польская полиция Ровно в белых перчатках и с букетами цветов встречала Красную Армию. Известие о том, что советские войска приближаются к Висле, вызвало взрыв энтузиазма в осажденной Варшаве: выручка идет. Никогда в истории 2-х народов, никогда в истории этих зе-

мель не было более благоприятного момента, чтобы покончить все старые счеты, ликвидировать вековые распри, восторженным признанием и благодарностью привязать к себе поляков и неполяков — и начать новую эру. Всех нас можно было тогда купить за недорогую цену.

В эти дни миллионы отчаявшихся людей уходили от немецкого нашествия. Немецкий разбой и национальное крушение оставили только один выход — на Восток. Поляки шли — к братскому славянскому соседу. Евреи — под защиту великой Республики Свободы. Социалисты и демократы — к стране Революции.

В эти дни в одном из пансионатов Отвоцка (под Варшавой) случайно застрял мой приятель, домовладелец и гласный города Пинска, человек мирный и буржуазный. Немецкий лейтенант вошел в залу пансионата, увидел еврейские лица, дрогнул, сказал: "Ужас, сколько евреев!" — и вышел. Вечером их стали переписывать. Когда очередь дошла до пинского домовладельца, его осенило. Он гордо выпятил грудь и сказал: "Я русский коммунист!" Немецкий лейтенант посмотрел молча, ничего не сказал. Но на следующий день ему позволили выехать. В пути ему не повезло, он попал в лагерь и просидел там в открытом поле с толпой беженцев несколько дней, пока немцы не выгнали всех на дорогу и не погнали на русскую границу. Конные с нагайками гнали пешую толпу бегом 15 километров. Та минута, когда перед моим приятелем выросла фигура русского часового, была переломом в его жизни. Он добежал до него, залитый слезами, обнял и стал целовать лицо, штык, мундир. Красноармеец усмехнулся и сказал: "Спокойней, братишка, спокойней — теперь уж лучше будет!"

Все верили, что лучше будет. В моем родном городе Пинске, месяцем позже, я мог убедиться, что мой домовладелец не был исключением. Еврейская молодежь демонстрировала на улицах Пинска с портретами Сталина и... Пушкина. Мало кто из этой несчастной молодежи понимал, что по ту сторону Буга половина польского еврейства расплачивается головами за их торжество.

Отрезвление наступило не сразу. Мы нашли во Львове великое столпотворение. Еще были свежи разрушения, стены домов покрыты траурными объявлениями о погибших. В центре города нельзя было протолкаться. Неслись грузовики с русскими солдатами, маршировали роты, кричали мегафоны походных радиоустановок, переполнены были кафе и рестораны необычной толпой. Миллион беженцев и военных. Золотые листья усеяли осенний бульвар Легионов, где спешно воздвигали эстрады, колонны с лозунгами, монументы из дерева и фанеры, крашенные под мрамор. Эта имитация мрамора была своего рода символом. Издали — торжественный обелиск, вблизи — наскоро сколоченные доски с аляповатой росписью. Деревянные декорации выглядели довольно жалко на фоне бронзы и барокко старого польского города, но рядом были танки и броневики — настоящая сталь.

Львов помнил еще первую русскую оккупацию 1914 года. Тогда царская армия привезла с собой обозы с мукой. На этот раз муки не привезли. Зато на Марьяцкой площади у стоп памятника Мицкевичу лежали свежие цветы. Зато были еврейские передачи по радио. Еще никого не трогали. Регистрировали беженцев и офицеров польской армии. Но как только стал ясен смысл прихода советской власти — захват, толпы поляков стали уходить на немецкую сторону.

Львов в октябре — бивак, зрелище суматохи и смятения. Иностранные консулаты штурмуются толпой накануне их закрытия. Встревоженные иностранцы домогаются выезда. Ежедневно прибывают партии беженцев с запада, многие прошли по 600 километров пешком. Всюду объявления о пропавших детях, о разбитых семьях. Евреи из Вены и Силезии рассказывают ужасы о том, как их вывозили и перегоняли через советскую границу. На перекрестках улиц громкоговорители рычат военные сообщения о немецких успехах. Неземная мелодия Шопена, в гротескном усилении, как взбесившийся бык, врзается в уличную давку. Шопен на улице громче автомобильных гудков. Продаются "Червоный Штандар", "Правду", "Известия", учебники русского языка. И всюду портреты вождей, рекламы советских фильмов.

Войны уже не было, но был переворот: политический, социальный, бытовой, осуществляемый не изнутри, а извне, по плану и приказу Москвы. Освобождение от немцев превращалось в завоевание. Фронта не было, но город выглядел, как в прифронтовой полосе. Выросли гигантские очереди, где в осенней слякоти сотни людей стояли за хлебом, за водкой, за горстью конфет. Выросли бесчисленные ресторанички, закусовые, где беженцы обслуживали беженцев, подозрительные притончики, полные спекулянтов или "бывших людей", где вполголоса велись разговоры о возможности прорваться в Венгрию, уйти в Румынию. Но мы уже были в кольце. Национализация фабрик, банков, раздел земли, выставки, на которых показывали фотографии огромных советских городов и чудес техники, а рядом — жуткое разорение в городах и невозможность всем найти работу. Советская власть объявила набор желающих ехать на работу в глубь России: бесплатный проезд, 100 рублей на дорогу. И эшелоны стали отходить из Львова в Донецкий бассейн. Одновременно мы были изолированы, границы закрыты — кроме той, внутренней, через которую шел самочинный, полулегальный поток беженцев из немецкой Польши в советскую и обратно. Была в особенности закрыта граница с Советским Союзом. Проезд в обе стороны был невозможен без особых разрешений, которые не выдавались частным лицам.

Первое, что я сделал по приезде в Львов, — это пошел в комендатуру на Вальной улице и просил о пропуске через румынскую границу. Дело, по-видимому, было простое. Я жил постоянно в Тель-Авиве, имел там квартиру, семью, приехал оттуда в мае, война захватила меня на пути домой. Визы, заграничный паспорт — все было в порядке. Велели мне прийти через неделю. Через неделю велели явиться еще через две недели. Каждый раз я заставал в комендатуре новых людей, которые не имели понятия, что мне нужно. Палестина, сертификат, виза — были для них непонятными словами, а документы на польском языке — недоступны.

Наконец мне объявили, что вопросы выезда за границу решит гражданская власть после плебисцита.

Этот плебисцит — о присоединении Западной Украины и Белоруссии к Советскому Союзу — останется в моей памяти как образец выборной комедии. Результат ее был предreshен заранее, как результат всяких выборов, организуемых военной властью при полной поддержке административного аппарата (или административным аппаратом при полной поддержке военной силы), при исключении оппозиции и отсутствии независимого общественного контроля. В день плебисцита я ушел из дому и вернулся домой только в 11 часов вечера. Моим твердым решением было не участвовать в плебисците. Вернувшись, я узнал, что за мной дважды приходил милиционер — "почему не голосует?" — и обещал прийти в третий раз. Делать нечего, я пошел в выборный участок. Там я потребовал, чтобы мое имя было вычеркнуто из списка выборщиков. Я объяснил, что нахожусь во Львове проездом, проживаю за границей и не считаю себя вправе решать вопрос о государственной принадлежности Западной Украины. Но это не помогло. "Можете голосовать, — сказали мне, — мы ничего не имеем против". Я категорически отказался, и мне сказали, что меня никто не заставляет и я тогда буду отмечен как уклонившийся от голосования. Я пошел к начальнику выборного участка. Это был советский командир, и я ему показал удостоверение личности, выданное мне полицией города Тель-Авива в апреле того же года. Это удостоверение не заменяло паспорта, но английский текст произвел впечатление на командира. Он позвонил в Центральную Выборную Комиссию и сообщил, что в списках выборщиков имеется англичанин, не желающий голосовать. "Вычеркните англичанина!" — сказали ему, и я ушел с победой. Прочие, невычеркнутые, голосовали как полагается — и советская власть по всей законной демократической форме вошла во владение Западной Украиной и Белоруссией.

Залы ресторана "Бристоль", где днем обедали при электорате, в шумной и разноязычной толпе, среди драпировок и плюша, среди звона посуды и запахов жареного, где старые кельнера с грустью смотрели на упадок бывшей польской реставрации 1 класса, а молодые огрызались на гостей и делали им замечания, были местом наших встреч

с советскими командирами. Это были люди негордые и общительные (до известной черты) и на наши вопросы: "Как это возможно, что Советский Союз заключил договор с фашистами?" — отвечали нам всегда, что это "политика", а война с фашистами будет непременно. Попадались среди них евреи, и эти в свою очередь нас расспрашивали, как жилось у поляков и что такое делается в Палестине. Расспрашивали с полным сочувствием людей, которые "могут понимать", хотя это и не касается их прямо.

Иначе вел себя солидный подполковник, занимавший комнату в квартире моих друзей. Вечером он появлялся в кабинете, слушал со всеми вместе радиопередачу из Москвы, а когда доходило до заграничных радиопередач — подымался и исчезал. Тем, что говорит за граница, он принципиально не интересовался, считая, очевидно, такое любопытство недопустимым для советского человека. Через короткое время квартира и весь дом были реквизированы властями, и мои друзья были выселены в квартиру поскромнее и поменьше.

Была мокрая ненастная осень, а вопрос моего выезда не подвигался. Почему прервался контакт с нашими семьями за границей? Я представлял себе страх моих близких, которые с начала войны не получали от меня известий. Почему нельзя ехать домой? Зачем это сидение в постылом и чужом городе? И как долго можно сидеть на чемоданах, без денег и заработка? Мысль поступить на советскую службу просто не приходила мне в голову. Надо уезжать, а не "устраиваться". Я чувствовал себя, как шофер автомобиля, который задержан на полном ходу перед заставой: мотор гудит, но шлагбаум все не открывают... Наступает минута, когда надо выключить мотор, выйти и сесть на дороге... Как долго еще?..

Я весь был полон инерции движения, мыслей о доме и нетерпеливого ожидания. Того, что меня просто-напросто не пустят домой, я не мог себе представить. Если бы кто-нибудь сказал мне об этом, я бы рассмеялся как шутке. Я мыслил категориями европейского права, стоя на пороге джунглей. Мои друзья, с которыми я приехал из

Лодзи, не имели моего палестинского сертификата и визы. Поэтому они в конце октября решили ехать в Вильну, которая как раз в те дни передавалась Красной Армией Литве. Это им удалось, и в конце концов они получили возможность из Литвы выехать в Европу. Один из них добрался до Нью-Йорка, другой — до Бразилии, третий — до Австралии. Попал и я в Палестину, но дорога моя продолжалась... семь лет.

В то время, еще сытый и в условиях сравнительно нормального быта, я испытал самое острое чувство одиночества, оторванности и нелепости своего положения. Наступил момент, когда пребывание во Львове стало невыносимо. На второй день после плебисцита я погрузился в поезд и уехал в Пинск — город моего детства, город, который не в первый раз среди моих странствий служил мне станцией отдыха и убежищем от бед.

Город моей матери! Но прежде пересадка в Ровно, пересадка в Лунинце. В Ровно кончилась Украина с белым хлебом и сахаром. Отсюда на север беднее становится ландшафт — белорусские туманы, озера, унылые равнины, мокрые перелески, глухие станции со штабелями дров. В Ровно на вокзале поразило меня неправдоподобное сборище оборванцев. Таких людей я еще не видел в Польше: толпа юнцов в невероятных лохмотьях, в опорках и рубище, босая и раздетая, в женских кофтах и фантастическом тряпье, навёрнутом на шею. Не я один смотрел с удивлением на эту толпу: из какой трущобы они явились? Оказалось, что это были ленинградцы — призывники столицы, свежемобилизованные и едущие отбывать военную службу. На весь эшелон не было ни одной пары целых штанов... Точно дверь приоткрывалась в другой мир, и всем окружающим стало немного не по себе...

На вокзале в Лунинце, размалеванном лозунгами, обвешанном алыми полотнищами, начиналась "Савецкая Беларусь". Вокзалы в этой стороне выглядят торжественно-монументально, как настоящие "государственные учреждения", со всем великолепием построек времен царя Николая: буфе-

ты с пальмами в кадках, тяжелые двери, высокие окна и порталы — внушительный контраст жалким деревянным домикам и булыжным мостовым за ними. Крестьяне — в лаптях и онучах, с холщовыми сумами, евреи — не такие, как в Галиции или "Конгресувке", а особые: это ЛИТВАКИ, пинские евреи, приземистые и краснолицые, со здоровыми и грубыми чертами, с круглыми головами, маленькими живыми глазками, — порода, милая моему сердцу и которую, кажется, можно узнать на другом конце света.

Столица пинских болот превратилась в советский город! Переход дался ей легче, чем Львову, по той причине, что не было языковых трудностей: Полесье всегда говорило по-русски, это язык деревни, и каждый еврей им владел. Зато никто не знал нового государственного белорусского языка — ни горожане, ни деревенские. Еврейские школьники, которые до сих пор путали только польский с русским, теперь путали уже три славянских языка и окончательно были сбиты с толку.

Пинск шумел и гудел, как оркестр, настраивающий инструменты перед выходом дирижера. Дирижер уже прибыл, но никто не знал, какая будет музыка... Город был полон энтузиастов, которые еще вчера были нелегалы, испуганных насмерть людей, беженцев, советских приезжих, притаившихся врагов и серых, маленьких обывателей, которые не были ни врагами, ни друзьями и ждали, что будет.

Этой роскоши я себе позволить не мог. По прибытии в Пинск я немедленно пошел в ОВИР — отдел виз и регистрации иностранцев. Мне нетрудно было убедить безграмотного и добродушного паренька, который со мной там разговаривал, что я человек не местный и должен ехать в Палестину. Ясно было, что он ничего против этого не имеет. Но у него не было инструкций выдавать визы. Надо было послать запрос в столицу Белоруссии — Минск. Увидев, с каким трудом изображает на бумаге буквы начальник областного ОВИРа, я взял у него перо из рук и за него написал требуемый запрос... Не знаю, был ли он когда-либо послан в Минск. Думаю, что мой парень просто отослал его на соседнюю улицу, в областное НКВД, или советское гестапо, где сидели

люди поумнее его. Петля на шее — невидимая петля, которую носит каждый житель советской страны, уже была брошена на меня, и скоро я это почувствовал.

С приходом советской власти старый доктор Марголин, пинский старожил, лишился пенсии, которую ему 8 лет аккуратно выплачивала Люблинская Врачебная Касса. Я приехал вовремя, чтобы заняться его материальными делами. В СОЦОБЕСе начальником был другой Марголин — худенький еврейский комсомолец, еще не освоившийся с внезапным переходом от подпольной работы к "вершинам власти". Он испуганно и неловко отбивался от массы человеческого горя, ломившейся в двери его кабинета. Старые пенсионеры, инвалиды, вдовы, все, кого содержало польское государство, тучей осаждали его, и не было ни средств, ни формальных оснований помочь им. Ставок советской власти не хватало на кров и пищу, на молоко для беззубых ртов. Что-то явно не сходилось, не соответствовало, мечты и действительность не совпадали, старики плакали, а мальчик в косоворотке, с кадыком и выпуклыми глазами смотрел на них со смущенным и жалким видом. Два Марголина поговорили о третьем. Выяснилось, что по советскому закону врач, прослуживший по найму 25 лет, имеет право в случае инвалидности на пенсию в размере половины последнего служебного оклада. Трудность же заключалась в том, что старый врач Марголин, понятно, не мог представить удостоверений с мест своих служб, которые начались еще в конце прошлого столетия. Кто же мог ему удостоверить службу во время холерной эпидемии на Волге в 1897 году? Даже служба в пинской больнице, о которой знал и сам начальник СОЦОБЕСа, приходивший ребенком на прием к этому же д-ру Марголину, не могла быть удостоверена за отсутствием архивов и самой больницы, сгоревшей несколько лет тому назад. СОЦОБЕС без справок ничего платить не мог. "Ничего?" — спросил растерянно один Марголин. "Ничего!" — вздохнул другой Марголин. Оставалось еще пособие для бедных, которое выдавал Горком в размере 20 рублей в месяц (цена 10 литров молока). Я оглянулся на очередь из больных, увечных, подвязанных стариков с палочками,

слепых старух, явно засидевшихся на свете, и благословил судьбу, которая вовремя занесла меня в Пинск, чтобы выручить моего старого отца в частном порядке. Для него коммунистический переворот оказался довольно невыгодным делом. И снова — как на ровненском вокзале — пахло ледяным ветром в приоткрытую дверь.

Время шло, а ответ из Минска все не приходил. Мы очень мило разговаривали с начальником ОВИРа, и наконец он мне сказал, что нет никакой формальной возможности поставить советскую выездную визу на мой польский паспорт. "Польского государства мы не признаем и, значит, не можем визировать польских документов. Вот другое дело, если вы примете советское гражданство. Как советский гражданин, будете иметь тогда право — просить ехать за границу".

Я спросил: "Если через неделю я вернусь к вам с советским паспортом, вы мне сможете его обменять на заграничный?" "Ну, нет, — сказал начальник ОВИРа, — этим делом я не занимаюсь. Но можно будет тогда написать в Минск и запросить насчет вас".

Тут я понял, что дело плохо. Я бросил Пинск и помчался на румынскую границу, в уже известный мне Снятин.

Начинался декабрь. Проезжая Львов, я был настолько осторожен, что взял у одного из знакомых опротестованный вексель снятинского купца и удостоверение на фирменном бланке, что я делегируюсь для переговоров о регулиции долга.

В 10 часов вечера львовский поезд прибыл в Снятин, и десятка два приехавших пассажиров сразу были взяты под стражу и отправлены в вокзальную милицию. Три месяца прошли даром, и больше не разрешалось приближаться к границе без важных оснований. Все приехавшие были заперты до утра, а утром их отправили со львовским поездом обратно. Я был единственный, кто удовлетворительно объяснил причину своего приезда и получил разрешение ехать в город.

Была глухая ночь, когда брчка тронулась с вокзала (до города было километра три). На полпути нас остановил пост, и я снова должен был предъявить документы. "Спич-

ки есть, товарищ?" — спросил красноармеец. Спичек не было ни у меня, ни у него. В полной темноте красноармеец удовлетворился тем, что пощупал мое удостоверение личности и скомандовал извозчику: "Трогай, давай!"

В спальне Снятине я с трудом достучался в окно корчмы. Хозяин помнил меня еще с сентября и встретил как старого друга. Через несколько минут я спал под огромной периной в единственной комнате для гостей.

Три дня оставался в обезлюдевшем пустом Снятине. Разъехались беженцы, пропали поляки и куда-то исчезла моя хозяйка-полька с сентября. Железным гребнем прочесали население пограничного городка. В том доме, где мы слушали радио три месяца тому назад, хозяин, бывший купец, занимался фабрикацией колбасы. Переходить границу мне категорически отсоветовали. На днях поймали сына местного сапожника, бывшего комсомольца, при переходе границы — и неизвестно, куда он делся. Пропал таинственным образом. Через границу и кошка не пройдет. Таинственные пропажи людей заметно нервировали снятинских евреев, привыкших даже в тюрьме всегда иметь точный адрес своего человека. Люди, исчезая, не оставляли никаких следов, не писали даже писем — очень странно! А русские люди, когда их расспрашивали, только смеялись и отвечали пословицей: "Много будешь знать, скоро состаришься!.."

Румынская граница оказалась непроницаема. Но оставалась еще литовская — на севере. Я укорял себя, что сразу туда не поехал. Сколько времени было потеряно!

Снова Львов! Я как будто попал на шумный перекресток, в смешанную толпу из потерявших почву под ногами и отчаянно метавшихся людей, из валютчиков, комбинаторов и просто людей, продававших часы и последние вещи, из новых бюрократов, перекрасившихся карьеристов и советских служащих. Многие мои знакомые уже вполне приспособились как инженеры, руководители предприятий, кто-то успел по командировке съездить в Москву и Киев и был полон впечатлений. Беспорядок и разруха во многих домах были замаскированы, прикрыты подобием уюта: по-прежнему накрывали к столу и вели "нормальные" разговоры, —

но в столовой уже стояла кровать, хозяйка готовила "запасы", вдруг, без всякой причины, начинали говорить шепотом. Сотни тысяч людей во Львове вели странное, нереальное, временное существование: все, что с ними происходило, как будто им снилось — это не была естественная и свободная форма жизни этих людей, органически сложившаяся и соответствовавшая их желаниям: это был гигантский маскарад, в угоду чужой власти, которая и сама носила маску, не говорила того, что думала, шла своим конспиративным путем. Угроза висела в воздухе, громада подавленных мыслей, спрятанных чувств, громада недоверия, лжи, страха, подозрений, беспомощность частного существования, которое уже было минировано и каждую секунду ждало взрыва: проклятая атмосфера сталинизма или всякой диктатуры, атмосфера насилия, помноженного на все горе военного разгрома, разрыва, распада, разлуки. Были тысячи людей, которые, как я, накануне войны приехали из-за границы, были бабушки, которые издавек на месяц приехали в гости поведать внуков, а попали в Советский Союз, палестинская молодежь, которая вдруг почувствовала себя нелегалкой, чужие, которые ничего не хотели, кроме позволения уйти, и как можно скорее, потому что быть "чужим" в советских условиях есть преступление.

И в эту кашу непрерывно прибывали новые люди — с Запада, из гитлеровской зоны, беглецы без оглядки. В один вечер в мою дверь постучали знакомым стуком. Я открыл: на пороге стоял мой лучший друг и товарищ Мечислав Браун — прямо из Лодзи.

Мечислав Браун принадлежал в молодости к группе поэтов "скамандра", и стихи его вошли во все польские школьные хрестоматии. В 1920 году этот человек был ранен под Радзимином, защищая Варшаву от большевиков. Но пришло время, когда польское общество стало бойкотировать его, как еврея. Мечислав Браун, польский патриот и европеец, прошел нелегкий путь от социализма и ассимиляции к сионизму. Он вернулся к своему народу, и летом 1939 года написал прекрасную поэму "Ассими", посвященную эпопее

нелегальной иммиграции. На палубе корабля, идущего к берегам Палестины, Мечислав Браун увидел среди молодежи фигуру в старомодной крылатке и широкой шляпе: Генриха Гейне, возвращающегося домой. Строфы "Ассими" еще звучат в моих ушах, но никто больше их не услышит: в огромной могиле польского еврейства похоронены люди и перлы их сердца, их слова и мысли.

В тот вечер Мечислав рассказал мне о своих злоключениях.

Он ушел из Лодзи вместе с женой, накануне падения города. Несколько сот километров они шли пешком, ночевали в крестьянских хатах, а днем двигались в людском потоке. Над Бугом, пограничной рекой, их догнали немецкие танки. Через месяц после начала их путешествия им пришлось вернуться в "Лицмонштадт", как немцы переименовали Лодзь. Квартира их была разграблена и занята немцами. Браун поселился на окраине города и в течение шести недель не выходил на улицу. Занимался он тем, что читал полное собрание сочинений Толстого. Через 6 недель было объявлено о введении желтой латы для евреев. За 700 злотых знакомый лодзинский пастор, которому он когда-то оказал большую услугу, согласился вывезти его на границу в автомобиле, украшенном свастикой. "Зато, — сказал ему служитель церкви, — когда придет в Лодзь Красная Армия, вы меня вывезете на немецкую границу". Как видно, лодзинские немцы тогда еще не совсем были уверены в военном счастье Германии.

Не доезжая километра до Острова-Мазовецкого, немец высадил его и умчался. Было уже темно, когда Браун вошел в местечко и поразился пустоте улиц. Местечко словно вымерло, и не было видно и следа евреев. Браун вошел в польскую гостиницу на рынке. Там он выдал себя за поляка. Это был высокий, голубоглазый блондин, и никто бы не признал в нем еврея. Хозяин удивился при виде гостя в вечерний час: вечером движение по улицам было запрещено, счастье прохожего, что он не наткнулся на полицейский патруль. Оказалось также, что в Острове-Мазовецком произошло накануне повальное избиение евреев.

Местечко это было забито беженцами. Вчера утром возник пожар, и немцы обвинили евреев в поджоге. Это было сигналом погрома. На рынке, куда согнали все еврейское население, разыгрались потрясающие сцены. Евреи бежали из местечка, по ним стреляли. Наконец отобрали 350 человек и погнали на кладбище. Кроме них взяли 30 поляков и в их числе слугу из гостиницы, где находился Браун. Слуга вернулся и рассказал хозяину, что на кладбище немцы отделили женщин и детей от мужчин. Мужчинам велели копать могилу. Копали молча, только женщины и дети подняли крик. Двое беженцев подошли к немецкому лейтенанту. У них была дочь, девочка 8 лет, и они предложили лейтенанту все деньги, какие у них были, чтобы девочке позволили вернуться в местечко. Для себя они не просили ничего. Немец взял деньги, вынул револьвер и пристрелил девочку на глазах у родителей. Все 350 человек были скошены пулеметом. Большое впечатление произвело на поляков, когда они увидели, как у маленьких детей от пуль отскакивали во все стороны ручонки, ножки и головки. Потом группе поляков велели закопать трупы. Они медлили. Немцы предложили на выбор: по 20 злотых за работу или пулю. Поляки закопали трупы.

Браун слушал, кивая головой, и старался не показывать волнения. В гостинице не было гостей, кроме него, и вся она была занята немецкой жандармерией. Хозяин собрался уходить — он жил в соседнем доме, — но Браун решил задержать его, ему было жутко оставаться одному с немцами. Он стал рассказывать анекдоты и истории не умолкая, заговаривал своего собеседника, пил с ним до поздней ночи, и, когда тот спохватился, уже рассвет глядел в окна, и ночь прошла...

Утром слуга проводил его в соседнюю деревню, и вторую ночь Браун провел в крестьянской избе на границе. В эту ночь шел немецкий обход по избам, искали евреев и находили их в каждой избе. Арийская внешность спасла Брауна. Немец растолкал его, посветил в глаза фонарем: "Кто такой?" "Родственник", — сказала хозяйка. Немец посмотрел

документ. "Чех?" — спросил он. Браун не спорил, и его оставили в покое. Как только немцы вышли, хозяйка потребовала, чтобы он уходил из избы. Браун еле уговорил крестьянина, ссылаясь на Матерь Божию и сердце поляка, чтобы он его проводил. Крестьянин согласился только тогда, когда он вывернул карманы в доказательство того, что отдает ему все деньги — до последнего гроша. Они прошли лесок, прокрались мимо немецкой стражи, так близко, что слышали голоса. Браун нес рюкзак, крестьянин — его чемодан. Дошли до полянки, и крестьянин показал ему рукой: "Вон там — уже русские". И повернулся, намереваясь уйти. "А мой чемодан?" — позвал Браун. Крестьянин только ускорил шаги. Гнаться за ним не приходилось, и Браун пошел в другую сторону. В полдень он был на станции на русской стороне, где стоял советский поезд. Сестра милосердия, которая прониклась к нему симпатией, впустила его в офицерский вагон, и он без препятствий доехал до Львова.

На этой истории не стоило бы останавливаться, если бы не тот поразительный факт, что Мечислав Браун, который во Львове был принят с почестями, зачислен в польскую секцию Союза советских писателей со всеми вытекающими отсюда материальными последствиями, спустя три месяца добровольно перешел границу в обратном направлении, к тем самым немцам, о которых он имел очень наглядное представление. Что заставило его вернуться — об этом речь пойдет дальше.

Продолжение в следующем номере.

Борис ХАЗАНОВ

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"

Повести и рассказы ("Запах звезд", "Взгляни в глаза мои суровые", "Дорога на станцию", "Час короля", "Страх", "Глухой, неведомой тайгой" и другие).

Выходит в свет в марте 1977 года.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ



БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ. Писатель. Родился в 1912 году. Окончил Литературный институт, был членом Союза советских писателей (Московская писательская организация). Автор ряда повестей — "Ярмарка", "Мальчик с голубиной улицы", "Три весны", "Дорога испытаний", "Молодой человек" и других. Умер Борис Ямпольский в 1972 году. Уже после его смерти в журнале "Континент" № 6 были опубликованы его воспоминания о последних днях жизни Юрия Олеши. Публикуемая в этом номере повесть "Большая эпоха" пришла в редакцию по каналам Сам-издата и печатается с сокращениями.

ЦВИ ЛУЗ. Прозаик и литературовед. Родился в 1930 году в кибуце "Дегания-бет". (Основателем кибуца был отец писателя Кадиш Луз, впоследствии председатель Кне-сета.) Цви Луз участвовал в Войне за независимость в качестве офицера бригады Голани, изучал еврейскую литературу и Юдаику в университетах Бар-Илан и Нью-Йорка, в 1968 году получил звание доктора. Опубликовал два сборника рассказов и две части трилогии "Легенды этого места", а также два сборника очерков и исследований о современных израильских писателях и поэтах. В настоящее время продолжает жить в кибуце и читает лекции в университете Бар-Илан о современной израильской литературе.

МИХАИЛ ЛЕДЕР. См. в номере 10.



АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ. Писатель. Родился в 1925 году, в Москве. Окончил Московский университет, защитил кандидатскую диссертацию, работал старшим научным сотрудником Института мировой литературы. Был одним из ведущих критиков журнала "Новый мир". Начиная с 1955 года под псевдонимом Абрам Терц Андрей Синявский начинает печататься за рубежом, где были опубликованы принесшие ему мировую известность "Фантастические повести", "Любимов", статья "Что такое социалистический реализм". За эти публикации в 1965 году был исключен из Союза советских писателей, арестован и осужден. Шесть лет провел в мордовских лагерях строгого режима. В 1973 году выехал во Францию. Уже за рубежом издал книги "Голос из хора", "В тени Гоголя", "Прогулки с Пушкиным". В настоящее время — профессор Сорбонны.

ЮЛИЙ МАРГОЛИН. См. в номере 8.

DIGEST OF THIRTEENTH ISSUE OF "VREMIA I MY" ("TIME AND WE")

BORIS YAMPOLSKI: "The Great Epoch".

Story about the life of a Moscow communal apartment, about the atmosphere of fright which wrecks human personality.

ZWI LUZ: "Shulamit".

Story about the life of a modern kibbutz, and a high-running family drama against the background of this life.

POETIC MOSAIC: In this issue we offer the poems of A. Khvostenko, E. Dubnov, E. Gheft, D. Vogel.

MICHAEL LEDER: "The Affair".

Story of the downfall of the Israeli secret network in Egypt. Final part.

ANDREJ SINJAVSKI: "I and them".

Philosophical essay about the argo of criminal world.

"APOLLO-77" — Fragment of an Almanach presenting modern artists and avant-garde writers.

JULIUS MARGOLIN: "September 1939".

Unpublished chapters from "Journey to the Land of Zeka", telling about the first days of World War II.

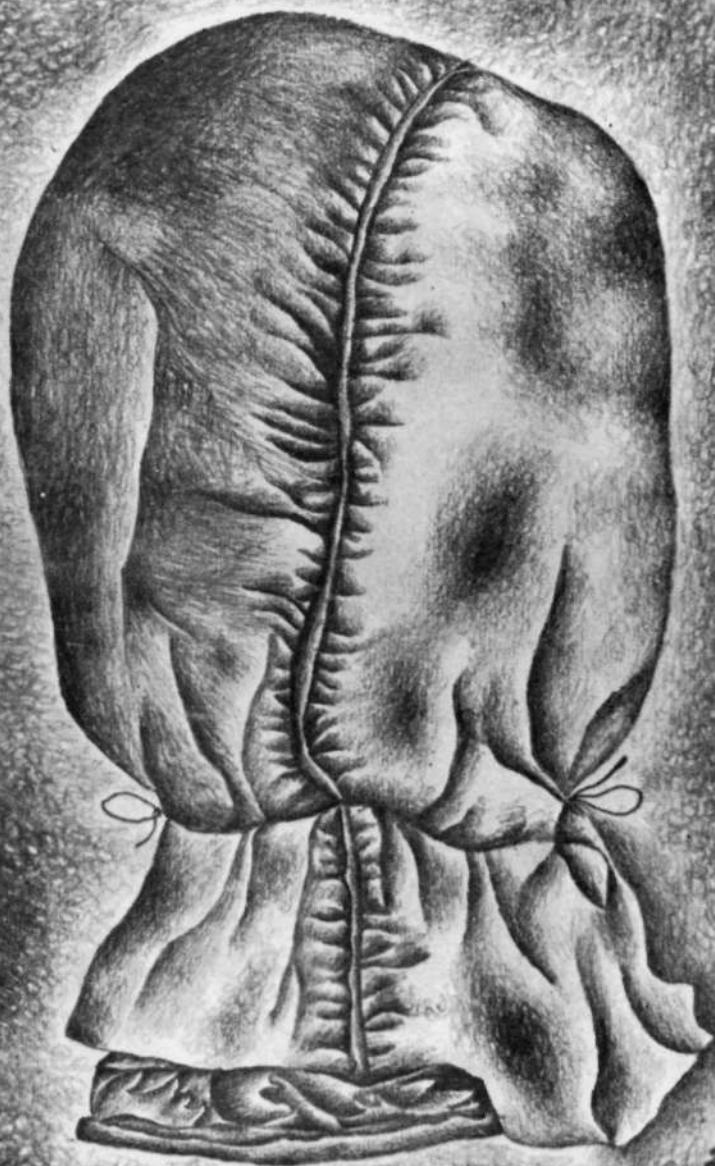
Отв. за выпуск Белла Немировская
Корректор Нина Островская

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Фотолитография Ор-Хай. П. Я. 36483. Т.-А.
Типография "Дерби". Улица Микцоа, 9. Т.-А.

На четвертой странице обложки картина Эдуарда Зеленина ("Аполлон-77").



379.